

Александр
Белых

悪魔
AKUMA,
ИЛИ
СОЛНЦЕ
МЁРТВЫХ

悪魔



Александр Евгеньевич Белых

Акума, или Солнце мертвых

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=49867898

Акума, или Солнце мёртвых:

ISBN 978-5-907030-78-7

Аннотация

В страшной и долгой истории «петербургского текста» возникает персонаж по имени Акума – японский злой мстительный дух, который преследует стареющего литературоведа-любителя Мишу Кралечкина за чрезмерное и мелочное любопытство к тайной эротической жизни прославленной поэтессы Анны Ахматовой. Читатель сходу погружается в безумие и посмертное странствие героя, из которого обязан выбраться в здравом уме и веселом рассудке. Новый роман Александра Белых «Акума, или Солнце мёртвых» в некотором смысле является ответвлением романа «Сны Флобера». Оба романа, как створы ракушки, соединяют мистику Востока и метафизику Запада.

Содержание

К читателю	7
Часть первая	8
1	8
2	30
3	42
4	51
5	55
6	60
7	68
8	73
9	93
10	100
11	106
12	108
Конец ознакомительного фрагмента.	109

Белых А. Е.

Акума, или Солнце мёртвых

五世

К читателю

Перед нами настоящий «петербургский текст», написанный с изяществом и легкостью, бегло и пристально, точно и трепетно. Именно так писалась самая важная проза, отнесенная к этому разделу литературы: романы Вагинова и Егунова, рассказы Добычина, заметки и эссе Гинзбург. Гротеск, едкий и приметливый, оборачивается проникновенным лирическим анализом, через время повествования легко перекидываются мосты, и никогда не встречающиеся герои объединяются созерцающей волей автора.

Конечно, наблюдательность и точность придают этому повествованию очарование и манкость. Автор говорит на достоверном языке, кажется, мы встречали в своем прошлом героев этой книги и даже можем прибавить собственный комментарий к их нелепому и жалкому бытию. Это вообще-то лучшее чувство, которое может вызывать проза, погружая помимо нашей воли, нас самих в глубину текста. Ведь какова задача сочинителя? Описать то, что всем известно, но остается за рамками внимания, создать мир, о котором знают все, но не говорят.

Николай Кононов

Часть первая

Собаки скучали

*«...но тень твоя бессмертна;
Когда он спит, то рядом бдит она».*

«Энума Элиш»

1

Тлела красным золотом небесная линия Петербурга. Тлела турмалином над евклидовым пространством R , тлела тонкой шёлковой нитью над крышами многоэтажек «Фешенебельного Района Гражданки» типовой застройки семидесятих годов с облезлыми забытыми коммунистическими лозунгами на фасаде, нелепо призывающими к трудовым подвигам и немеркнувшей славе. Тлела ало, бордово, кроваво.

«Как призрачный шеол, ты, душа моя, набранная тлеющим кармином», – перепугано шептал шершавыми от частого облизывания губами Кралечкин, пытаясь извлечь из шелухи случайных слов крохи нетленного смысла, имея пожизненную сладкую и мучительную прю с капризными Мусами.

... Ежели он победит, то со всеми ему лежати...

Снова вспыхнула и погасла на Востоке петербургская линия горизонта. «Чьи это выдумки, жизнь моя? Была ли ты, или не было тебя?» Он не мог вспомнить. На висках набухли жилы. Уже многое сгнуло, склеротическими бляшками осело на дно забвения, где скрыт таинственный источник света и печали. «Скушен мир, так рано надоевший...» Там, в глубине, взрхляя дряхлый донный ил, раскрывая в зевоте острозубые рты, глодали ветхозаветные рыбы жмых и тлен его обветшалай памяти.

...А ежели побездён будет, то он лишён будет, чего они захотят...

Как связка консервных банок на хвосте у одичавшего времени, впавшего в тёмные века средневековья, прогремывал в проблесках его сознания красный трамвай имени всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина.

Трамвай «финдесъекль» спешил в депо имени Баумана. Однажды туда уехала выпавшая из портфеля Кралечкина рукопись автобиографического романа из писем и дневников под названием «Газели в джунглях». С тех пор, пожалуй, история его, обросла вымыслами трамвайных читателей СПб. «Вот моя слава, – не раз тщедушно сокрушался незадачливый писатель, – лежит где-то в канаве, как собака, обглоданная воронами».

Бордовая расщелина света – «soleil levant» – импрессионистическим мазком возникла над лавандовым полем вещественных чисел. Она сужалась и расширялась, как вороний

зрачок. Сигналила. Пульсировала. Умирала. «Как огненный алоэс! Как божий сад лучей!» Эта расщелина света стремительно очертила предсмертную грань между воспоминанием и безнадежностью мерцающей точки одной воплощённой души, не нуждающейся ни в каких доказательствах, ни в каких оправданиях в этом конечномерном вещественном векторном пространстве галактик, скоплений и туманностей, дружно разбегающихся согласно небесной механике Лапласа.

«Ведь душа есть аксиома, не подчиняющаяся законам тяготения...» – дарственно надписывал когда-то мелкокалиберным каллиграфическим почерком Михаил Кралечкин на книжке стихов «Возраст грешности» одному почитателю с выпренным именем Евгенислав Цветиков... А сейчас в припадке отчаяния он грозил ему слабосильным кулачком и кричал этому незримому злодею, распевая тургеневским тенорком по нотам: «Па-а-а-д-л-а-а-а!»

Кралечкин пребывал то ли в каталепсии, будто невзрачная рыбка, выпрыгнувшая из аквариума и лежащая почти бездыханно под диваном в пыли, открывая жалобно рот; то ли в пифагорейской мистике, умножая числа до бесконечности; то ли под впечатлением заклинаний, которыми тибетские монахи заполняли ранний весенний радиоэфир. Он созерцал что-то ускользающее и неуловимое его мерцающей мыслью, что блуждала в плеоназмах его сексуально-религиозной чувственности.

«...А парадигма души есть сама поэзия в её цветении и

увядании. Права она ли не права, поэзия, а существует, ври сколь хочешь, хоть с три короба наври, душа моя завирушка, не оставляй меня, родная... Па-а-а-а-а-дла-а-а!»

Душа его, опутанная колючими нервами тела, растекающаяся в его семени, плыла в плероме звёздными эфемеридами.

На ворсистой ткани неба вошкались звёзды. Зашевелился, зашуршал эфир. Так осыпается за отклеившимися обоями извёстка. «Призаиндевело, призаплесневело...» – распевал на одной из радиоволн на шкале где-то между Лхасой и Ленинградом эфир, разбуженный в громоздкой радиоле «Сириус», чувствительной к деменциям и девиациям всякого рода – грамматическим, психическим, сексуальным, стилистическим, метафизическим.

Казалось, что неведомая незримая рука опустила тонарм на старый винил рижской фирмы «Мелодия» и закружился звёздный небосвод, заколебался небесный окоём, проливая через край рдяный кисель жиденького света в электрических звуках терменвокса.

Хотелось думать – вместо того чтобы прекратить раз и навсегда что-то думать... Он двигал мыслями, как камнями двигает вода реки Оять... Думать, чтоб не рвалась нить, чтобы вращалось веретено мысли... чтобы стрекотала бабушкина прялка... Хоть что-то думать... хотя бы то, что это скрежещут звёзды, соприкасаясь друг с другом орбитами, магнитными полями, гравитацией. Авось, из ерунды смерт-

ных мыслей, полных сбивающих с толку нелепых грамматических солецизмов, обрывков речи, тёмных намёков в птичьих дифтонгах, выкарабкаться к существованию, к архебытию... к той незримой... к той лазоревой... к той зыбкой жизни ... что зовётся «caerulea vita»... И сладко было бы тогда...<Нрзб>. Да.

Кто-то на цырлах, тихонько-тихонечко подкрался к Кралечкину со спины да взял его исподтишка под заплывшие жирком микитки крепенькими щекотливыми руками. Кралечкин вздрогнул, обернулся, но никого не обнаружил. Лишь вязанная из гаруса шаль коснулась его руки. Пустая комната хранила мрак. Тени рассвета блуждали по полированным шкафам. «Что за бесноватые, что за трихины носят здесь?» Вера его смякла, лишённая мужества. Испуг смертный и дрожь вожделения окатило его грузное тело от макушки до пят, как прибрежную отаву, кольнуло под ребром, и тотчас Кралечкин, как говорится в медицинских протоколах, вздумал дать себе какое-нибудь душе спасение. А какое? Отчего спасение?

А то была старуха Акума, вездесущая и проказливая тень Анны Ахматовой, имевшая поганую привычку исподтишка пугать Кралечкина в неожиданные моменты его велеречивой задумчивости – в прихожей, в метро, в банке, в ритейлере, у рябины в Муринском парке... Вот бы отмутузил того-то по сусалам! Вот подпалю тебя, чучело! Чирк-чирк, и запалю! Так запугивал Кралечкин неведомо кого, каких-то незримых

микроскопических трихин. Как подменённый эльфами, он теребил траурный перстень.

За окном чирикали спросонья первые воробьи, сменившие ночных петербургских грифонов. Кто-то внушал высушить голову наружу.

– Steck mal deinen Kopf rein.

«Прощай, мой Кралечкин, прощай! – услышал он голос из пятого угла комнаты. – Как вы мертвы! Как надо вам умереть!» Он не сразу узнал голос Акумы в раздвоенном наваждении. «Что, боишься привидений? Мы из разных областей мышления...» – ехидно пробасил её голос. Что ни слово, то подвох. Кралечкин вытянув толстую выю, наострил оттопыренное ухо. Хвостик обглоданной цитаты застрял на его зубах. В космическом эфире, как в Летнем саду, шелестели малахитовые травы у встревоженного пруда, восклицали и всхлипывали музы, танцы диких кафров и папуасов танцевали голые хариты на незримых волнах, именуемых у аргонатов, флотоводцев и флибустьеров счастливыми Фортунами.

Одна муза, видимо уже совсем старенькая, как дремлющая музейная смотрительница в одном из залов Эрмитажа, где стоит малахитовая ваза в человеческий рост – однокурсница Танька К., всегда чующая запах вина и застолья, говорила мечтательно: «Вот бы такую чашу «Вдовы Клико» ис-

пить всем нашим блоковским семинаром! Слабо?», не замечая, как в этой вазе барахтается по кругу скользких стен паучок-торопыга, пытаюсь выкарабкаться из воронки малахитовой вселенной, – строго сказала заржавевшим суровым голосом: «Слушайте приказ номер сто тридцать пять! Петрополь с башнями дремал. Пять по сто и спать! Спать!» Кралечкин вздрогнул. Мысль запуталась, как муха в паутине. Он замер. «Это просто твой личный бред», – успокаивал он себя, поглаживая ладонью по ошестининой щеке.

По спине его будто провели мелкой наждачной бумагой. До слуха его доносился треск льда, плеск волн, хруст песка, храп коня. Кто-то крался за спиной Кралечкина, тяжело дышал в затылок. Воображение его распалось непотребно. Ему чудилось: кто-то вынырнул из его окна, как рыба из ржавого пруда Летнего сада. Это была амальгамная гостья – то ли намалёванная Паллада в розовых попыхах, то ли русалка-Анадиомена. Гостья, интригуя наготой, сверкнула двумя раззадоренными ягодицами с умопомрачительной войлочной прорехой и вмиг исчезла, испуганная ужасным видом безносых статуй – «двух женщин, двух весталок»... <Нрзб>.

Казалось, что небесную линию подпалила, словно бикфордов шнур, какая-то не исчисленная звездочётами ещё со времён императора-филантропа Адриана случайная звезда-утопленница по имени Ἀντίνοος, залетевшая впопыхах в

ленинградское небо из созвездия Пса.

Небосклон вот-вот озарится, вспыхнет бордовым цветом рассветной язвы, будто пороховой склад на Охте – где-то за пустырьём, за кладбищем, где божественно цветёт персидская сирень. «Упадает звезда, угасает жар, коротает ночь, за-
тухают вдали поезда, пылают воды...» – заговаривался Кралечкин, подыскивая неприхотливые рифмы.

Раз-другой он чиркнул спичкой о мятый коробок с этикеткой, пропагандирующей экономические достижения СССР в электроэнергии и добыче каменного угля в Экибастузе... <нрзб>. «Тускло мерцают бурмицкие зёрна», – напевали пожухлые губы, пробуя рождающийся стишок на зву-
коряд.

«Если б я, небо, море, огни, воздух, объемлющий миры, ангелы, пылающие планеты превратились в слова и буквы, если б я стал буквой, гиероглифом мира...» – вторил ему на ухо заговорщицким шепотком Николай Василевич Гоголь, прячущийся за рубиновой замшелой портьерой. От него пахло плесневелым мякишем хлеба, спрятанным в кармане его бархатного халата, селёдкой, пеплом мёртвых душ из второго тома, шалью из гаруса.

Наконец, обломав пару-тройку хиленьких спичек, Миша Кралечкин закурил третью по счёту папиросу из смятой пачки «Беломорканала». Когда папа закуривал папиросы, он сначала шумно продувал мундштук, стряхивал крошки ма-

хорки, постукивал о тыльную сторону ладони. В устье большого и указательного пальца левой руки читалась татуировка И.В.С. «Папа, не смотри на меня», – буркнул сердито Кралечкин, чувствуя в низине живота тёмную, тягучую, молочно-кисельную благодать, как бывало в детстве, когда папа замахнулся однажды на него широким кожаным ремнём. Мальчик часто капризничал, как заводная игрушка, исходил рёвом. Он блял, не в силах остановиться. Его заговаривали, на спине у него катали яйца, чтобы изгнать из него хворь, нечисть, блажь. Мишу называли «заговоренным мальчиком».

От перекошенных отцовских губ, с которых слетали невразумительные фонемы, гениталии у маленького Миши сжимались желторотым воробышком и начинали ворковать свою непотребную стыдливую песню, похожую на жужжание мухи за двойной рамой в деревенском доме. «Не бей ребёнка, ирод! – вскрикивала мама, сделав ужасные глаза трагической греческой маски. – Это не педагогично всё-таки! Макаренко не велит обижать детей малых да сирых! Юродивым станет! Не снести позора!»

Она прижимала голову сына к мягкому животу. Мальчик обхватил мамину теплую толстую ногу всем своими липкими от шоколада ручонками. Сколько раз она наказывала, не прятать шоколадку в кармане! Если б кто-нибудь придумал такой экран тишины, который оградил бы его от голосов из пятого угла. Заткнуть уши... Шуршала извёстка под лапами

шестиногих. Сгиньте, чары! Из страхов, как воображаемых, так и реальных, родился косматый мир испуганного мальчика. «Не бей ребёнка, это задерживает его развитие, испортит его характер», – сурово наказывал советский ободраный собаками плакат на бетонной стене в прихожей его петербургской квартиры на Гражданке, оставшейся в наследство от родителей.

Книги на кресле, под столом, на шкафу, на подоконнике, в клозете, притворившись мёртвыми, порой говорили разными голосами. Чтобы избавиться от них, Кралечкин брал папину бриллиантовую ручку и толстую тетрадь в чёрной рубашке и записывал несносные откровения с таким усердием, с таким старанием, потея и кряхтя, будто тянул невод, полный небылиц, чудищ, дохлых мойв. Вдруг на стене поплыла замысловатая тень арабской вязью. Это вошёл тополь с потрёпанным грифоном на ветвях. Он взмахивал крыльями, и тени на кирпичной стене вырисовывали числа. Кралечкин старательно записывал цифры на форзаце книги... Вдруг самопроизвольно завертелся на паркете «злой волчок», царапая иероглифы.

«Моральный дискурс» в голове Михаила Кралечкина сурово, по-красноармейски насаждался родителями с колыбельных песен о человеческом счастье из советского кинофильма о Гулливере. Бабушка убаюкивала и утешала его пе-

сенкой из этой кинофильмы: «Ай лю-лю-ли, спи мой маленький мальчик, спи мой лилипуток».

Миша, медленно взрослея в послевоенном времени, вяло соперничал с этим советским дискурсом своим имморальным телом, которое выходило из его подчинения, как если бы он отпустил руль на велосипеде, мчась по колдобинам деревенской дороги. Возмужав, тело противилось впитывать императивы морального кодекса строителя коммунизма в редакции Никиты Хрущёва, как будто прочность этого мира держится на советских ценностях и смыслах, не знающих релятивизма и диалектики.

Познающая эвристическая душа Миши, взыскавшая культуры и просвещения, европейской цивилизации, всё-таки жила, взрослала, томилась и хворала по уставу советского казахизиса. Этими терзаниями, почти религиозными, исцарапаны его дневники прилежной каллиграфией – одни «эльфийской» (как сказал бы Юрий Тынянов), а другие с «гоголевской старательностью», третьи «тургеневской журавлиной клинописью»...

По почерку дневников легко наблюдать этапы медленного взросления советского ребёнка, школьника, юноши, студента, аспиранта, учителя, лейтенанта, журналиста, поэта, литературоведа, пенсионера, покойника, свободного художника мысли...

Взгляд его, раздвоенный створками хромоногого трюмо тёмной полировки, скользил поверх вещественных чисел,

кратных числу п. «Всё в себя занесли зеркала». В дом, будто сквозь форточку Джозефа Овертона, входили его родные двойники, фантомы, тени, духи, упыри, эльфы, инкубы, кабиасы, лахтари, пииты и прочая литературная нечисть, коими кишела русская изящная словесность. Душа Миши, будто весенняя крапивница, зажата меж страниц. Как ни вытравливал Кралечкин эту нечисть из книг, она всё равно лезла и размножалась. Он прислушивался: «Этот призрак приходил, как предсказала я полвека тому назад... – шептала под inferнальный нос Акума. – Поэт не только сплетенье рук и ног, не человек, а дух во всеоружии слова...»

Моль жеманно, как спесивая жена, ползла по ноге Кралечкина, щекотала волосы, приговаривая: «Молеве, княжи ризы едят, а печаль человека». На лапках и на бледных крыльях тешилось нежное самолюбие и трепетало мелкое тщеславие. Кралечкин помнил метафизическую максиму английского философа, что эти чешуекрылые шестиногие насекомые всего лишь «химически сжатый юмор капризных женщин». Кралечкин знал их в лицо по именам и сопровождал их к месту и не к месту поганым словом из пресловутого словаря немца Макса Фасмера.

Кроме этих свойств сила Акумы таилась также в том, что она владела метафизическим «внутренним словом», которым могла провидеть и проклясть (если подвернуться под тяжёлую руку, паче впасть в немилость). Это «внутреннее слово» возрастало втуне в складках тёмной души. На свет бо-

жий Акума производила магические слова путём свиста с помощью зубов, путём дрожания языка, путём смыкания нёба, путём сжатия губ, путём дыхания через нос. Слова насыщались соками и ароматами анчара, туберозы, ванили, цикламены, датуры – в зависимости от цели, обстоятельств, действий.

К 14 часам, к праздничному застолью Кралечкина поспеют гости. «Много званых, да мало избранных на пир вечности, на пир любви», – будет встречать приготовленной присказкой Кралечкин, приодетый в синюю шёлковую рубашку с драконами. Молодой музыкант Антон Л. войдёт с трёхрядными прибаутками из оперы «Нос» по Гоголю, следом явится переводчица Лена Б. с португальского, трудится над «Sodoma Divinizada». Она придёт в сопровождении какого-то благостного иностранца по имени Иероним; суетливо войдёт восторженная ахматоведка филолог-антикварий с ксерокопией автографа из Фонтанного дворца и доказательствами какого-то четвероюродного литературного родства ААА с тургеневским генералом Ратмировым из романа «Дым». («Сладкий, учтивый, богомольный – и засекающий на следствии крестьян, не возвышая голоса и не снимая перчаток»). Боком-боком, как рак, пожалует угрюмый кинодокументалист Сабуров с inferнальной идеей фильма. Кра-

лечкину предложит должность литературного консультанта в его будущем фильме «Акума», как исследователю эротических тайн Ахматовой. Кинематографщик будет не один, приведёт наивного бородатого гляциолога по имени Мау Линь в щегольской розовой шубке, который притащит в рюкзаке осколок окаменевшего папоротника триасового периода мезозойской эры и будет рассказывать о королевских пингвинах Новой Швабии, у которых он отобрал этот геологический артефакт, принятый антарктическими птицами за яйцо; будет штатная мемуаристка не без литературных претензий Софья Острожская по домашнему прозвищу Мелхола Давидовна с эксклюзивными подробностями и скользкими ахматовскими эротическими тайнами и бытовыми сплетнями об инфернальных гостях из прошлого и будущего – ныне «кто в Ташкенте, а кто в Нью-Йорке».

– Я гостям радёшенек, садитесь! – скажет Кралечкин. – Что ж вы, будьте как дома и не забывайте, что в гостях. Откиньте всякий страх, сейчас я вам что-то скажу...

Среди званных гостей не будет одной сентиментальной женщины, не будет милой, ласковой, заботливой, умной <нрзб> Нины Ч., которая в юности случайно близко соприкоснулась с Кралечкиным поэтическим кумиром, когда она оказалась в квартире у родителей своего возлюбленного на Владимирском проспекте... Одно мгновение, всего один взгляд украдкой из-за ширмы, на всю жизнь обернулся утешительной, как молитва, любовью к стихам Ахматовой, тон-

кие книжки которой носила с собой в противогазной сумке все годы войны, в блокадном Ленинграде. После многих лет близкого общения, телефонных разговоров, переписки Кралечкин отдался от неё одним словом – легко, скверно, подло, предательски. Просто отказал в дружбе без всякого зазрения совести, жалости, благолепия. Сказал, что все эти годы их знакомства, подумать только, целое десятилетие, начиная с семидесятого, наполнявшие её жизнь светом и радостью, всего лишь притворялся в любви и дружбе к ней – к той осиротевшей женщине, которая называла его чудесным мальчиком, сыном, милым, бесёнком, добрым, ласковым, посвящённым в ахматовское братство. Он просто устал притворяться, устал быть другом для неё. Как легко это слетело с уст его! Сокрушаясь от предательства, она называла его и прохвостом, и эгоистом, и жестоким, и снобом, и зверюгой, и святым инквизитором, и подлым моралистом, и ласковым мошенником, и лицемерным карликом. Он попользовался её благорасположением и любовью, вынул с потрохами из её души всё, что нужно было узнать для его будущей книги, которую никогда не закончит. Он бросил женщину без звонка, без письма, без визита; бросил на одинокое прозябание в двенадцатиметровой комнате-конуре на Старой Невской, 146. Старушка стала для него ненужной ветошью, тряпкой на пороге, о которую вытирают промокшие калоши. Однажды она, отвергнутая старуха, пережившая ленинградскую блокаду и гибель любимых, преодолевая уни-

жение, попробует в гости к Мише. Сил ехать на могилу сына у неё не было, поэтому в этот поминальный светлый скорбный день она отважилась на этот шаг. Маленькая, повинная, она придёт в его дом за прощением в апрельский день 1977 года, который станет для неё последним в её жизни. Женщину встретит мама. Проводит в комнату сына. Они уединятся. Миша будет тяготиться, всё время отвлекаясь на черепашку. После угощения, поданном в изысканной реквизированной супнице в стиле барокко, с австрийскими пастушками и пастушатами, фривольными сценами, в так называемом «бурдалю», ей внезапно станет плохо, пойдёт рвота... Этот переполох не входил в Мишины планы. Он ждал Сержа из увольнения и мысленно гнал старуху. Кралечкин увезёт её на «скорой помощи» в больницу на Васильевском острове, сопроводит в палату, потом тихо закроет дверь, не сказав ей «прости» на прощанье...

Длинный коридор больницы, гулкое эхо под высокими арочными потолками отзовется мучительным мнительным воспоминанием: он уже когда-то проходил под этими сводами. «Зайдите в 17-й номер Обуховской больницы к проктору, – скажет кому-то статный высокий доктор. Красной ниткой на кармашке белого халата было вышито имя К. Гаршин. Он хитро подмигнёт Кралечкину и проворно исчезнет за дверями кабинета №17. Из-за дверей он услышит восхищённый голос: «Чувствительный безумец!» Deja vesi.

Да, одно место за праздничным застольем будет пусто-
вать. Эта пустота будет красноречивой и вызывающей толь-
ко для взора хозяина. Это место её мести. Отложенной ме-
сти Нины Ч. Столь трепетно любившей Мишу Кралечкина,
как сына. Женщина будет стоять в проёме комнатных две-
рей, как тень дерева, как могучий мститель обид, и смотреть
с немым укором на праздничное застолье Кралечкина, где
разливали мутное вино, а по губам её он будет читать гроз-
ное: «Забвенье неотвратимо...»

В качестве застольной забавы Кралечкин придумал маги-
ческий трюк. Он предложит устроить для званых гостей се-
анс художественного спиритуализма на свиных косточках,
кои для этой цели, смакуя, были тщательно обсосаны на па-
ру с Кларэнсом, его приёмным сыном, когда готовили хо-
лодец с хреном, и сложены в красивую картонную коробоч-
ку для рисовых колобков из ресторана «Японский городо-
вой». «А давайте, погадаем!» – скажут заскучавшие гости.
Зашторят окна, закроют межкомнатные двери, затеплят све-
чи. Они будут вызывать колдовством дух поэтической му-
зы барона Врангеля, возлюбленной двух террористов, ахма-
товской подруги по эстетскому обществу, что собиралось в
«Казачьих банях» у Царскосельского вокзала в Большом Ка-
зачьем переулке. Вы уже догадались, это будет дух графи-
ни Паллады Олимповны Богдановой-Бельской, своекоштной
пансионерки Мариинского института, утончённой куртизан-

ки, рождённой, как известно, от сумасшедшего сыщика и распутной игуменьи, дочери генерал-майора, Серебряного века, Мировой войны, Русской революции, Красного террора, Блокады, потомственной дворянки, ставшей при Сталине пенсионеркой Всесоюзного значения (если верить БСЭ), проживавшей на проспекте Ветеранов.

Намедни ему пришло ностальгическое письмо от Сержа («Ау, Серж!») с новой почтовой маркой стоимостью 30 копеек с изображением этой «демонической женщины» с вороньим пером богини Маат на шляпке. Письмо оказалось с сюрпризом. В конверт была вложена фотокопия открытки от 1948 года, адресованной Ахматовой: «Наверно, я вскоре умру, потому что очень хочу вас видеть и слышать – а я теперь тень безрассудной Паллады. Страшная тень и никому не нужная».

Кралечкин представил воочию, как в комнату войдёт на прелестных ножках – «худа, как смертный грех» – графиня афинских оргий: «На ней мила из кружев блуза и узкий лифчик».

...А когда пришла, позвякивая браслетами на ногах, шурша амулетами на запястьях, злоречивая тень безрассудной Паллады Богдановой-Бельской в приторно-ванильном аромате духов «Астрис», то заговорила она почему-то по-болгарски: «В сърцето ми смърттá Ви смъртна рана».

Кралечкин вздрогнул, в ушах его эхом зазвучали слова

приговором: «Пусть ваша смерть мне сердце насмерть ранит». Паллада Олимповна, сама овладевшая ремеслом советской гадалки, выставит перед ним хрустальный шар, в котором отразится в сумеречном свете рассерженный лик Акумы... <нрзб>.

...Уж спутались в памяти Кралечкина в калейдоскопическую чехарду рассыпающиеся на пиксели голоса и лица полезных и бесполезных друзей. Думая об угощениях, он весело напевал на разный мотив реплику одного из своих сомнительных персонажей: «Придут гости, и думаешь, а не подать ли им на обед соломы». Каждому приготовлена его поэтическая книжка «Дурная компания» (пусть приобщаются к его славе). «Коль вспомнят посмертно добрым словом, и то хорошо», – тщеславно утешался Кралечкин, отчаливая в мыслях от бренного берега бытия. И как оберег от забвения он повторял мысленно фразу: «Забудут? Вот чем удивили!» И прошептал вслух угрожающе: «Я еще вам спою в голубом эфире ноктюрн в миноре под звуки терменвокса».

Накануне дня рождения ему приснилась забытая влюблённость студенческих лет. Марго обмоталась паволокой в какое-то подобие кимоно, шла горной дорогой, сквозь область теней, меж жизнью и смертью, звала за собой. «Я – богиня Сатохимэ, принцесса весны», – кокетливо сказала она, не замечая бездны на её пути. Они собирались как будто бы на студенческий маскарад, посвящённый Лермонтову. Ми-

ша удивлялся: «Зачем снится старое, прежнее, отчего нет ни проку, ни логики, ни смысла?» Он признавал сны только вещи. Но записывал всё подряд, что снилось. Уже после пробуждения, роясь в книгах, на глаза попался альбом с советскими марками. Когда-то марки волновали его так же, как волновали стихи Ахматовой. Если бы не стихи, то он посвятил бы себя филателии Чехова, написал бы научный труд о его хобби.

Миша был когда-то прилежным филателистом. У него были пинцет и кляссеры. Альбом открылся на странице с японской маркой номиналом 50 монет. На ней была изображена принцесса весны Сатохимэ. Во сне принцесса спускалась к морю вдоль склона, усыпанного цветущими синими ирисами, похожими на хвосты летающих рыбок. Чернокрылые бабочки, именуемые дьяволами, метались зигзагообразно друг за другом в любовной неге. Вдали дышало море эллинскими гексаметрами. Вздохи были глубокими. Между паузами можно было успеть многое вспомнить и многое позабыть. Кралечкин, замороженный, шёл следом за ней вдоль берега залива, усеянного цветными стёклышками: синими, зелёными, желтыми, красными. Миша чувствовал воду. Вдруг девушка в красном обернулась к нему.

– Я тебя знаю, Миша, не ходи за мной. Я не та, за кого ты меня принимаешь. Ты проснулся в чужом сне, будь бдительным! Японская легенда гласит, если тебя мучает бессонница, это значит, что ты проснулся в чьём-то чужом сне... Не

заблудись, парень... Ом мани падме хум.

Он понял, что это пришла сама смерть, нарядная; понял, что пришла пора. Да, пора собираться, пора складывать в котомку сухари, спички, соль, стельки, пуговички. Кралечкин стал срезать пуговицы со старой папиной одежды – кальсон, рубашек, гимнастёрки, кителя. От суммы и от тюрьмы не за-рекайся. Пойти за ней, а там хоть умри...

– Что ж, прекрасно! – сказал Кралечкин.

И тотчас хватился своего плюшевого медвежонка, косолапого Медведика, ведь с ним всегда было надёжней в этом бесприютном мире.

«В чьём же сне я мог бы проснуться? Неужели это сон Аку-мы? Сон ли Ахматовой? Что за дрянь!» – брезгливо подумал Кралечкин. Его литературоведческие привязанности отпечатались на его характере и сновидениях как третья копия оригинала.

Голый, совершенно нагой, безволосый, побритый, одутловатый, лоснящийся старик, считающий себя очень больным и очень умным человеком, стоял у тёмного с просинью окна с бардовыми велюровыми гардинами на заржавелых металлических прищепках, купленными и развешанными ещё мамочкой, любимой мамой, на новоселье, считай, уж сорок девять лет назад (легко сбиться со счёту), в другую историческую эпоху. В животе у него урчал капустный лист, съеденный на ночь. «Нахряпался хряпы! – сказала бы мама серди-

то. – Вот и не бурчи!»

...По ногам у него стекало жиденькое холодеющее птичье молоко. Изливалось сознание проблесками жалобных воспоминаний, как свет в окнах проезжающей загородной электрички. Он перебирал в уме бурмицкие зёрна, эти необработанные слова, выброшенные вялыми приливами воспоминаний, что давно стали блуждающими снами без обстоятельств, без места, без образа действия. Видения вращались в его голове, словно загнанные облупленные лошадки на детской карусели в городском парке в Лудейном Поле. Всякий литературный проходимец норовил вскочить и прокатиться, кружась в «аффинном пространстве» Миши Кралечкина, исполненном фа-диез-мажором в четыре октавы в реликтовом излучении угасающей вселенной, соскользнувшей на вираже в математическую ловушку, в «черную яму» созвездия Дхармакайи, где-то в точке пересечения двух параллельных прямых, как лыжня у финских стрелков в 1939 году... Миша склонился над листом в клеточку, исчисляя бесконечность телегами. Это сколько же телег нужно поставить в один ряд, чтобы узнать длину бесконечности, куда стремится его имя?

2

«А зачем он курит?» – вспомнился праздный вопрос его давней возлюбленной Коломбины, в глазах которой он казался подростком, школьником, и это внимание льстило его мужаящему самолюбию, что девушка поинтересовалась им, Мишей, всегда робеющим мальчиком, двадцати однолетним студентом-филологом ленинградского университета имени А. Жданова.

По злой иронии судьбы именно этот одутловатый советский хозяйственный деятель, верный сталинский соратник, своей смертоубийственной критикой-разносом в известном журнале прослезил глаза пятнадцатилетнему школьнику, открыв ему имя и стихи опозоренной поэтессы, «приживалки советской литературы». Цитированные строфы в этой погромной статье Миша любовно выписал в тетрадь и заучил наизусть. Из них он создал свой особый мир, свою эстетическую автономию, буферную зону отчуждения в заснеженных архангельских лесах.

Пожалуй, с этого поэтического увлечения всё пошло не так, как у праведных советских подростков, съехало с рельс под откос, как вражеский германский состав. Годы личной жизни он посвятил кропотливому собирательству биографических сведений и свидетельств (подобно нумизматам, филателистам и пр.), пока столичные стадионы и залы шумели

бойкими железнодорожными ритмами бравурных поэтов – романтических хабарщиков будущего, мечтателями космической эры Евтушенко и Вознесенского. За ними Кралечкин не гнался, чтя... <нрзб>.

Ленинград шестидесятых дышал свежестью, юностью, невским ветром, поэтическими альманахами; дышал цветущими на улице Ракова (бывшей Итальянской) южными раскидистыми каштанами, сам воздух дышал несбыточными мечтаниями, радостью, весельем. Пробуждалась плоть, в крови зашкаливал уровень гормонов счастья, как выразился в стихах убогий отпрыск декаданса забытый Рюрик Ивнев. Юность устремлялась к коммунистическим новостройкам советского счастья и благосостояния где-то в таёжных глубинках, где-то на быстрых сибирских реках, где-то на севере дальнем, на космических орбитах Венеры и Марса. На этих планетах юные мичуринцы собирались разводить вегетативным методом яблоневые сады, выращивать сочную кукурузу, брюхатую брюкву и сказочную репу... <Нрзб>.

Согласно газетам будущее было близким, неизбежным, счастливым, неотвратимым, советским и далёким от декадентских поэтических пристрастий Кралечкина. Несколько раз в год Миша имел обыкновение писать письма самому себе в будущее и тому большому человеку, который будет читать их, ухмыляясь над Кралечкиным; он давал обещание сделать то-то и то-то. Что-то выдающееся. Делился мысля-

ми и чувствами. Он сбрасывал письма в почтовый ящик на углу дома на Ленинградский адрес. Письма возвращались, и Миша складывал их в отдельную папку для делопроизводства под номером № 2018. Будущее было гарантировано этими письмами. Жаль, что наука еще не дошла до того, чтобы можно было позвонить в будущее, увидеть его на волшебной тарелочке, покатив сказочное яблочко.

Будущее обещало быть шестимерным, а человек благородным, целеустремлённым и свободным. Кибернетику и генетику еще не реабилитировали, но прообраз интернета «система ОГАЗ» академика Глушкова и «система ЕГСВЦ» академика Китова уже покушалась на святое святых – газета «Гардиан» сообщала язвительно: «Перфокарта управляет Кремлём».

Этот комсомольский энтузиазм, которому непрестанно подыгрывало проводное радио, не коснулся двух белобрых вихрей Миши Кралечкина – всё обошлось однажды летним стройотрядом, двухмесячным трудовым изнурительным подвигом в одной карельской деревне на реке Свири, где строили ржавыми инструментами для сельских жителей с комсомольским задором и забористой руганью бревенчатую баню да амбар, обретая коллективистский опыт труда «всем миром»... Взобравшись на стропила, Миша, не упуская возможности продемонстрировать свою филологическую эрудицию, декламировал русскоязычного Вергилия: «О, блаженные слишком – когда б свое счастье знали – жи-

тели сёл!»

Какое счастье – подлинное! Какая гордость мужеская пружинила в юных крепеньких мышцах белотелого исхудалого Мишеньки, играла в поднаторевших телах других парней, несравненно более мужественных, когда был возведён конёк, когда восседавший на крыше местный парень крикнул по-фински: – Всё, кайки! – они впервые затопили берёзовыми поленьями выстроенную собственными руками просторную баню! Как радовались хорошей тяге в дымоходе, бело-синему пламени в печи, стройным белым клубам дыма под северным шафрановым небом, жаркому белому пару, вкусно пахнущим белым смолянистым полкам, на которых весело отбивали друг у друга по загорелым широким спинам сосновыми и берёзовыми вениками. Как бежали наперегонки, сверкая своей бесстыжей белизной, с налипшими жёлтыми лепестками чистотела и собачьих дудок к каменистой речке и купались в ледяных огненно-синих, багровых прозрачных потоках под стать благородным речным рыбам – форелям!

О, как хочется вернуть это ощущение счастья, молодости, здоровья, силы и поселиться навечно в кругу этого мужеского братства северных парней среди суомских лесов, шумящих унылыми рунами, отсыпаться на мягком можжевельнике, слушать зябликов, сорокопутов, оляпок и плисок, подражать фырканию лосей, пьющих воду из реки и, обкуривая комаров, слушать за костром байки старых местных комму-

наров и лесорубов о снежных походах гражданской войны! И т.д. И т.п. Всё это пронеслось в мгновение ока белой рябью на стылой речной воде, как сосновая стружка, сгнуло втуне забвения. Даже значок, нагрудный знак «Ударника-ухтинца», торжественно подаренный отцом, который служил в Управлении северных лагерей особого назначения НКВД, тоже куда-то запропастился, а ведь прежде Миша щеголял перед сокурсниками этим отцовским знаком отличия, цепляя за кармашек белой рубашки.

Этими уроками возмужания, загаром скудного северного солнца и обрётёнными малосильными бицепсами и дельтовидными мышцами от перетаскивания ядрёно пахнущих отёсанных брёвен он гордился перед подружками чрезвычайно. Его томно и лениво поздравляли сокурсницы. «Молодец, молодец!» – говорили и крепко жали его натруженную руку с длинными тонкими пальцами с крашеными ногтями.

Дневник его не приукрашал и не привирал, как это делают романисты, а фиксировал правду взросления и возмужания, а также приятные моменты о том, как ласково к нему обращались товарищи, когда он заваривал в эмалированном ведре на костре душистый чай из лесных трав иван-чая, мяты, хвои, липового цвета, брусники, можжевельниковых веточек: «Мишенька, а ещё чай будет? Будьте любезны!»

Услужливость и угодливость проистекала из желания похвалы в свой адрес со стороны сильных, мужественных уве-

ренных в себе парней из рабфака. Подражая им, он стал курить, научился заламывать папиросу, как бичара. Ему нравилось, когда его похлопывали по плечу, подбадривающе подмигивали, ласково смотрели. Ведь от отца никогда не звучало похвального полсловца: «Ну, давай, сынок! Папка за тебя!»

Отец его, желая видеть в отпрыске идеального гражданина СССР, был сторонником строгого воспитания по методу немецкого доктора Морица Шребера. Его метод выпестовал в русских дворянских семьях будущих декабристов, в чьих головах зародился прообраз будущего государственного устройства, состоящего из пятнадцати государств-республик. Миша не знал об отцовском методе ничего, не понимал его благородного замысла, пока не обнаружил в его старых конспектах по политзанятиям следующую выписку: «...Напугайте ребенка как можно сильнее, потрясите его до самых корней! Они еще совсем слабы... Угрожайте ему жестами, с глубокой ненавистью, враждебностью во взгляде, будто собираетесь его уничтожить. Сделайте так, чтобы ребенок уяснил: либо он, либо его воля – вместе им не жить. Если он выберет волю, ему придется умереть. Как только ребенок поймет, что может жить только ценой своей воли, он отбросит ее и выберет выживание. Это естественно! Выживание перво-степенно; все остальное вторично. И тогда вы хозяин ребенка навсегда. Впредь достаточно будет одного взгляда, слова

или угрожающего жеста, чтобы им управлять».

Однако та девочка – единственная девчонка, от которой он хотел бы ждать восхищения, просто удивилась его поступку: «Что за ажитация!» Она не совсем была красавицей, но голубые глаза её на сибирском скуластом лице светились пронизательным умом. Взгляд её иногда прожигал насквозь. Звали её по-всякому: Марго-Арго, Маргарита-Арита, Мариша, Ришка. Они дурачились, придумывая друг другу прозвища. За его уклончивые и сослагательные ответы – «Ну, не знаю! Ну, может быть, мабуть» – она прозвала его Мишкой Мабуть.

О, сколько страниц дневника посвятил этой девушке с факультета восточных языков! Нужно иметь очень оригинальный ум, чтобы выбрать себе такую редкостную и такую бесперспективную профессию как японская филология. Её чёрный потертый портфель с двумя железными замками был увесистым. Из него она вынимала то толстенный том «Истории древнего Востока» Авдеева, то русско-японский словарь Конрада, принадлежавший когда-то судовой библиотеке пассажирского лайнера-турбохода «Советский Союз» дальневосточного пароходства (как свидетельствовала судовая печать). Она читала всегда: в трамвае по пути домой или на занятия, раскрыв на коленях, или на пляже под стеной

Петропавловской крепости.

Миша иногда подкарауливал трёхкопеечный трамвай, в котором ехала на учёбу Маргоша, добираясь из Оккервиля. В руках у него был пятый том писем Флобера (из недавно вышедшего собрания сочинений) и букетик из нескольких веточек душистой поздней сирени. «Флобер, бессонница и поздняя сирень тебя – красавицу ...» – декламировал игриво-романтический Кралечкин вместо приветствия. Трамвай дизайном выглядел как космический корабль, устремлённый в фантастическое будущее, поэтому Миша шутливо величал свою спутницу Аэлитой и шутейно ревновал её к всемирному злодею инженеру Гарину.

Кралечкин хотел бы следовать завету известного писателя *любить свирепо и властно, властно и милосердно*. Однако ему не хватало духа в этом мужском деле по жизни, или тестостерона, как сказал Миша Ковалёв, что, собственно, уберегало его в некотором смысле от того, чтобы не впасть в эгоцентризм ницшеанского толка в его будущей эволюции как творческой единицы, а с другой стороны это провоцировало его на старческие срывы и нервные вывихи. Влечению своему он мучительно пытался придать какой-то смысл, найти логику, кроме пошлого наслаждения, и не обнаружив ни от того, ни от другого, и успокоился мыслью, что влечение сродни наводнению, когда разливается Нева, и спасайся как можешь...

Она приехала поступать в Ленинградский Государствен-

ный Университет имени Жданова издалёка-дальнего, откуда-то из-за Урала, из Верхотурова, али из Владивостока (видимо, эта два города были связаны в её биографии), и была усердна сверх меры как все провинциалы. Её трудно было назвать провинциалкой, скорее она была в глазах Миши чужестранкой, инопланетянкой. Что-то было связано в их семейной истории с русским Харбином, с КВЖД, с репатриацией, со старообрядческими традициями.

Девушка отличалась от остальных сокурсниц нестоличными манерами и жестами, кроткий взгляд её был загадочным, будто в нём скопилось много неизведанного пространства и многомерного времени; она была немногословной, не щебетала, не сплетничала, и каждое замечание её было точным, весомым, что настораживало дурашливых парней.

Он угостил её дамскими сигаретами «Femina», которые держал при себе на случай жеманного ухаживания. Миша слыл дамским угодником, но не всяких девушек угощал. Знакомство случилось на набережной у Сфинкса «с откушенным временем носом». Потом пересекались в библиотеке, в курилке, на общих лекциях по истории партии («Краткий курс ВКПб»), в кассе во время выдачи стипендии, в студенческой столовой, где буфетчица Фаина Ивановна неизменно сыпала циничными прибаутками своей знаменитой тётки, повергая всех студентов в гомерический хохот безобидной фразой: «Уберите эти крошки со стола!»

Громче всех смеялся в девчачьем кругу легкомысленный

Миша Кралечкина, а тонконогий и гривастый Миша Швеллер, с которым ему приходилось спать бок-о-бок в диалектологических экспедициях (за сказками о злой ведьме Лоухи) не под изодранными шатрами, а под колхозными ватниками, стоял в сторонке и посмеивался тихонечко и серьёзно, успевая что-то чиркнуть в своём блокнотике. Юмор буфетчицы он растворил в своих будущих «невских рассказах», как аттическую соль.

В одной из таких экспедиций по северным весям, где усыпанные васильками красными да жёлтыми холмы полого весело сбегались к озёрам, они горевали всечасно о смерти Ахматовой, оплакивали её судьбу великим плачем на берегу Лача, как «княжеский милоствиник» Даниил Заточник в тринадцатом веке. Здесь время не сдвинулось с места. Старинным говором молвили вепсы. Они варили ушицу из сушика и читали по очереди ахматовские стихи у костра, подсказывая и поправляя забытые строки, подбрасывая сухие веточки, возлагая печаль на светлые небеса. Кралечкин блистал. Было торжественно и уютно в северном сумраке.

Где-то рядом вепские медведи «карги» чуяли в дыму сладкое и шарили на остывшем кострище, поедая горелые картофелины. По-свойски величавый олень – «гирвас» – переходил реку на перекате. Камни, присыпанные красноватой сосновой пылью от молодых сосёнок, казались живыми. Пыльца щекотала ноздри. Апчхи, и олень исчез в бестрепетном осиннике.

И вспоминалась ему в этот скорбный вечер Марго – к тому времени она уже покинула Ленинград, отчалив в Страну синих махаонов. Умерла Ахматова, уехала Марго... Две утраты связались в один узел... Что-то символическое мерещилось ему в этих утратах. «Сердце моё стало как лицо без глаз...» Гуляя подолгу вдоль Невы, они наперебой декламировали строки из ахматовской поэмы «У самого моря», отважно мечтая вместе сбежать летом на берег Крыма, чтобы увидеть античные камни Корсуни, Херсонеса, Фиолента... Она научила его нескольким иероглифам, преподавая урок каллиграфии, чертя прутиком на мокром песке под стенами Петропавловской крепости, где они прогуливались после сессии среди загорающих праздных мужчин и женщин, демонстрирующих модные купальники. Марго растолковала ему значение японского слова «акума», коим, поведала она заговорщицки, подписывалась, злоупотребляя, Ахматова, чьи недавно изданные восточные переводы они обсуждали во время прогулок после лекций. «Аку» означает «злодеяние», «ма» означает «дух». Кроме того, она объяснила значение элементов в каждом иероглифе, и всё это было так зловеще. Разговор их блуждал («А ты читал?», «А ты знаешь?») среди забытых имён русской литературы, вычеркнутых из школьной программы.

Миша Кралечкин пестовал в себе мысль, как пчела пестует тычинки и пестики в цветах, что его встреча у Сфинкса с Марго была не случайной в тот весенний день, когда за-

цвели пятипалые каштаны и город опушился бледной прозрачной зеленью деревьев на радость суетливым горожанам и сноровистым муравьям. Они были околдованы одним тайным именем, судьба закольцевала их в какой-то мистический круг событий.

Советский мистик Кралечкин искал таинственный смысл слова. «Юный возраст имею, а смысл во мне стар». Соперницей в их отношениях порой была «лермонтовская скука». Он напускал на себя томный вид по своей школьной привычке, чтобы казаться взрослее да мудрее, а на самом деле, чтобы скрыть растерянность и неуверенность перед неизбежным будущим, в котором ничто не исполнится... А юношеская привычка эта переродилась в старческий снобизм. Собственно, снобизм стал признаком старения. «Ум мой – как ночные вороны... И дар мой не угадан никем», – шептал Кралечкин сейчас.

На мгновение лишь сумрачный и старческий ум Кралечкина уловил бледный свет счастья – о, этот пиксель счастья, отразившийся на влажной голубой сетчатке его глаза! Ум его озарился на короткий миг и тотчас омрачился досадой не востребованной упущенной юношеской любви. Лучик счастья даже не истлел, а погас, как отсыревшая спичка. Марго исчезла из его жизни внезапно. Её увела дорога на океан, к синему морю. Она осталась в его воображении как рисунок на ткани северного света. Не вернулась в Ленинград после сессии. Она перевелась в другой университет, уехала к родителям во Владивосток, как говорили, из-за болезни то ли бабушки, то ли мамы, театральной актрисы одного местного театра, к тому же в её городе открылось восточное отделение на филфаке.

Он долго питался слухами о ней, пока слухи не иссякли совсем, пока беготня по жизни не истоптала память о ней. Страницы дневника засушили его любовь к Марго. Однажды, много лет спустя, её имя всплыло в одном узко-научном межвузовском малотиражном издании. В статье под названием «Японское поэтическое слово в антологии «Мириады листьев» как мистический образ действия» развивалась мысль о мистико-поэтической категории в древней японской поэзии, выраженной в слове «котодама» – «дух слова». Лю-

бопытным ему показалось ссылка на японскую статью об Ахматовой, в которой её поэтическая манера, лаконизм, психологизм, вещественность, чувственность катренов сравнивается с лирическим опытом японской поэтессы Ёсано Акико, но переводы были настолько ужасными, что больше внушали недоверие к этой экзотической аналогии.

Из этой публикации он «слизал» старый японский образ и стал сочинять стих в модной эстетике индустриальной разрухи «ваби-саби»: «Увядают листья слов, сердце лишь в печали грезит: в пелене осеннего дождя скользит твой зыбкий облик под зонтом... Ужель не властно время над грёзами моими?»

О таинственных совершениях в поэтическом слове она писала каким-то квазинаучным выдуманым языком. Его взяла досада, раздражение, тоска. «Какое насилие над поэзией! Как можно так грубо обращаться с живой тайной слова!» – возмущенно комментировал Кралечкин на полях статьи, следуя своей привычке оставлять надписи в прочитанных книгах.

В этой статье кандидат филологических наук обращалась к поэзии Ахматовой – уже можно было распиливать мужественную поэтессу в советском литературоведческом цирке. В незаконченных минималистских формах русской поэтессы, в череде четверостиший она узрела возврат к древним поэтическим формам, подобным ритуальной и лирической японской короткой песни «танка», «седока» и т.д., и т.п.

«...И я была как все, и хуже всех была, купалась я в чужой росе, и пряталась в чужом овсе, в чужой траве спала». А большие лирические формы кандидат филологических наук рассматривала как сюжетно-развёрнутые пятистишия «танка». Как гипотезу можно было бы принять, конечно, но, как научный факт, едва ли, скептически размышлял Кралечкин, мало смыслящий в восточных поэтических формах.

Чтение этой безликой научной статьи сопровождалось странным наваждением: строчки расслаивались и наплывали друг на друга, и поверх безмолвных литер всплывали посторонние смыслы. Он слышал её голос: «Неуклюжий косолапый мальчик с красными глазами». Миша отвечал ей шепотом: «Чудо морское с зелёным хвостом».

Он раскопал свой студенческий дневник, залез в него по уши, нашел давние записи о Марго, читал всю ночь до рези в глазах, обливаясь холодными, как поцелуи рыб, слезами. А потом он долго смеялся, прочтя в дневнике рассказ Марго о том, как она ребёнком поела зелёных, мохнатых и прочих гусениц, снятых с листа смородины где-то у них на даче в Сад-городе, у взбаламученного илистого моря, где на берег, фыркая, выходят тюлени, флегматично отбиваясь лапами от бездомных собак. Особенно она любила снимать жирных гусениц эндемической бабочки парусника Штуббендорфа или многоцветниц; не брезговала даже простодушными желтушками, обездвиженными осенней изморозью...

Сохранилась синенькая школьная тетрадка с её виршами на двенадцати листиках. Он так и не удосужился их внимательно прочитать за все эти годы разлуки. Что-то верлибро-силлабическое, абстрактно-чувственное, безлично-мистическое, безадресное было в стихах его бывлой подружки... Иногда встречались рифмы, как инородные включения: «Туманное утро. Июньский муссон. Чайка лениво над морем скользит. Бархат амурский над мшистой скалой окунается в сон...»

Он предавался любованию своими розово-голубыми переживаниями юношеской влюблённости, лишённой всякой эротической подоплёки и плотского волнения. Вспомнил, как она подарила ему сухой плод амурского бархата и велела: «Съешь!» Он разгрыз чёрный сморщенный плод с мелкими зернами. У него был терпкий, пряный, сладковатый, мятно-имбирный привкус не распробованной любви, как он определял в дневнике. Он хотел вспомнить этот вкус прошлого, которое ничего не обещало в будущем.

Сон души продолжался скоплениями, галактиками, туманностями...

Чтобы безоглядно, смело броситься в гормональный омут юношеской страсти – нет, с ним такого никогда не бывало, из-за робости, конечно. На эти поступки юность его не отважилась. А ближе к возрасту общественного презрения, когда стали уступать место в трамвае и метро, краткосрочный пароксизм безрассудства всё-таки взрыхлил его эпидерму эро-

тическим роem увлажнённых букв и рифм.

Беспечная жизнь советских номенклатурных стилиг проходила мимо прилежных путей робкого среди парней, весёлого среди девчат студента Миши Кралечкина. Где-то гудели поэты-тунеядцы. И он забрёл на этот гул... Тунеядцы-снобы не заметили Мишу. Он отвернулся от непризнанных гениев, в студенческой стенгазете писал на них мстительную критику, оттачивал перо.

Отчасти завидуя им, их раскованности, свободе, он чуврался стилижных современников ровно так же, как обывателей, вахтёров, дворников, слесарей, сантехников, соседей по съёмной коммунальной квартире, где запирался, заплетаясь в паутину литературных мыслей. Как уютно было в этом коконе, словно отъевшейся зеленою гусенице! Пушкинская нега растекалась по его членам...

Ещё чуть-чуть и Миша Кралечкин окуклился бы в куколку экзотической бабочки, которую изображала упорхнувшая в невидаль далёкую Маргарита-Арита... А там, глядишь, в определённый срок произошла бы с ним метаморфоза, произошёл бы метемпсихоз, произошло бы преобразование – так, улыбаясь, думал о себе неусыпный страж чужой гонимой музыки, страж её тени. Его ждала участь тривиальной бабочки-капустницы, личинки которой пожирают капустный лист, где чудесные склизкие слизняки нежатся в любовной неге.

Он улыбнулся своей прошлой ребяческой выходке, когда отправляясь в коммунальную уборную в конце длинно-

го коридора, уставленного сундуками, водружал на шею деревянный стульчак, изображая некрасовскую лошадку – «игого!» – чтобы развеселить соседскую девочку-плаксу трёх лет или напугать беспородную собачку-тявку-вредину. В но-стальгии о том студенческом коммунальном времени процитировал себя: «Я иду по жизни шаткой сквозь торосы и заторы. В переулке отдалённом щиплют холки две лошадки за заснеженным забором. Ох! Как они, я тоже был влюблённым...»

Он чувствовал себя каким-то поздним отпрыском «реакционной» достоевщины, художником от науки, каким-то Василием Михайловичем Ордыновым, мучимый какой-то своей оригинальной идеей, болезненно влюблённый подростковой влюблённостью в поэтическое таинство Анны Андреевны Ахматовой, но вынужденный заниматься какой-то студенческой подёнщиной, урочными болгарскими переводами, а именно патриотическим рассказом «Маленький содом» Георгия Стаматова.

Ему было уютно в области абстрактных чувствований литературных героев, поскольку с собственным телом находился в неустанных противоречиях между самовлюблённостью и самоотречением. Тело его, как внешний враждебный агент, всечасно грубо внедрялось в его зыбкое сознание, в котором он искал «своё» блуждающее, пропадающее, исчезающее «я». Ещё не просохшие чернильные буквы в дневнике колыхались мёртвой зыбью. В целях оздоровления ума

от устарелого модернизма и кокетливого декаданса он закружал свою голову романами «Человек идёт в гору», «Сталь и шлак», «Утро Советов» и т.п.

Среди героев этих пухлых советских романов ему не было места, из-за чего Миша сильно переживал за накопившийся «декадентский» шлак в его плероме. Некоторое время, в последний школьный год, его окрыляла залихватская мысль, приходившая по ночам, махнуть с другом на Донетчину, поступить на Енакиевский металлургический завод, чтобы стоять у мартена вровень с белозубым рослым рабочим классом, стать мужественным сталеваром, чтобы заводская проходная, наконец, вывела его в люди, в коллектив.

«Спят курганы тёмные, солнцем опалённый и туманы белые ходят чередой, через рощи шумные и поля зелёные вышел в степь донецкую парень молодой... мmmm, ууу... в дни работы жаркие на бои похожие... мmmm, ууу», – тоскливо замурлыкал Кралечкин, будто жалея, что этим парнем никогда не станет ни на каком повороте судьбы. Он глядел на репродукции динамичных картин Александра Дейнека с купающимися юными заводчанами в послеобеденный перерыв на Донбассе и пронзительная зависть к их здоровой рабочей жизни возбуждала его воображение, пробуждая нудящий голод и тягомотину в его животе. Созерцательности его ума более соответствовала бы малоподвижная вальяжная живопись Генри Скотта Тука, воспевавшего в рубине, золоте и малахите своих импрессионистических *plein air*’ов берего-

вую линию залива Фальмута непорочной викторианской наготой портовых подростков и рыбаков из Корнуолла. Мише не удавалось влиться в оттепельную жиденскую струю комсомольского энтузиазма шестидесятых, на пиршество вольницы он припозднился, и в дальнейшем не успел вписаться в общество потребления, которое стартовало вначале шестидесятых и поелику стало подмывать гранит коммунистической идеологии всё возрастающим удовлетворением потребностей советского народонаселения. Он сокрушался и печалился в дневнике, в котором нашёл родственную душу своего двойника, что не умеет любить людей, зато умел приспособливаться к жизни и делать подлости исподтишка. Боялся, что его проделки откроются товарищам, которые талантом своим отнимали у него литературные амбиции, и, в конце концов, останется один, как пень на деревне. Запах смерти преследовал его всюду. Он чувствовал себя «забитым, задавленным и замятым», и это чувство перенёс на своё ленинградское поколение.

Бедность и «безбытность» его кумира служила ему духовным примером, он брезговал номенклатурным достатком своего отца. Чуждая ему молодёжная жизнь ленинградских «подростков», страждущих малобюджетного студенческого кутежа в каком-нибудь кафе «Фрегат» на Петроградской да жаждающих шипучих мгновений «Советского шампанского» комсомольской юности проплывала мимо него, как щепка в зеленоватых мутных каналах, в то время как, где-то там – у-

y-y-y!

Как чернильное пятно на школьной промокашке, сохранившейся в его школьном дневнике, расплзлись его импрессионистические блики воспоминаний. Его жизнь стала тенью, фланирующей в канавке Муринского зловонного ручья (*прозрачного, как кристалл*, если также верить Н. Н. Х.), где выгуливал себя и преданных четвероногих друзей. Буквы в дневниках – адали блеклые цветочки травы сныть, адали мышинный горошек – уже выцвели, завяли, высохли. Ничто не защищало его от надвигающегося небытия в эту апрельскую ночь <нрзб> года.

«Эй, какое тысячелетье на дворе?» – шептали обмётанные губы. Подельники чужих воспоминаний подвывали, поскуливали, лизали руку.

Из ничтожества бытия шагнуть отважно, подняв забрало, в ничтожество небытия, казалось, запросто, легко, раз и, здравствуй, о дивный мир без сновидений! Кралечкин облизал губы. Ему показалось, что губы его обметала пыльца с крыльев бабочки. Воспоминание о чём-то ничтожном, как пыль, но таком важном, без чего невозможно воскрешение, билось у него на висках. В пыли валялось забытое слово утешения.

– Не бойся.

– Подойди!

– Дай руку!

– Стань у края.

Как сдавливают грудь от чувства высоты. А не всё ль равно?

«Ты закурил и вышел тотчас за окно, прогремел трамвай, стало скучно, скучно...»

Внезапно включилась радиола, вещая на частоте 4625 кГц. Женский эфирный голос, ржавый как гвоздь, на котором висела картина с сифами и альфами, без интонации произнёс: «Я УВБ 76, Я УВБ 76. Передаю приказ номер 135». Радио прошумело, щёлкнуло, зажужжало, взвизгнуло, взвыло, ухнуло, крякнуло, умолкло. Тишина перехватывала дыхание, словно Кралечкину зажали рот невидимой рукой.

«Тише, тише, – шептала Акума.– Спи, спи, Кралечкин, спи вечным сном, малыш. Я буду слёзы лить недужно над твоей кроватью... основы правды зыбки. Пусть в твой угол идут и жертва и палач».

Радио снова заскрежетало шестерёнками эфира. Он задышал глубоко, часто, сбивчиво. «Жив, жив, жив! А то! У-у-у!»

Скрежет радиоволн вызволил из памяти Кралечкина детскую панику, когда бабушка закрывала его на ночь в комнате, выключала свет и включала радио, чтобы голоса из мембраны убаюкивали мальчика. «Передаёт радиостанция РВ1 имени Коминтерна на волнах 1744 метра...» Вместо сна

на него наваливался ватный тюфяк смертных страхов, демонов, верстовых столбов. Они вывалились из мирового эфира, похожего на взбунтовавшиеся в оркестровой яме музыкальные инструменты, которые вдруг ни с того, ни с сего начинали оживать и звучать синкопами, какофонией, атональностью... Подушка в цветной наволочке билась под его головой, царапалась когтями, выла и скулила. Она рожала щенков. Склизких, сопливых. Кралечкин душил их, впиваясь зубами. Вдруг всё смолкло. Боль ушла.

Радио запело романс Шуберта «Still ist die Nacht, es ruhen die Gassen». Кралечкин прильнул к подоконнику, неловко взмахнул рукой – дирижёр звёзд, ночи, снов, бреда, воспоминаний. Стоявшая на подоконнике зелёная матовая ваза из стекла с позапрошлогодними розами, похожая на ребристую бутылку с длинным горлышком, опрокинулась и разбилась вдребезги.

Вслед за осколками разбежались позеленевшие советские гривенники, пяточки, двушечки, трёхкопеечные монетки, пятнадцать копеек, двадцать копеек. Как долго они томились, зеленели на дне памяти! Когда-то эта ваза служила копилкой, в неё сбрасывали медь да серебро на проезд в трамвае. «Копилка жизни, мелкие монетки... Они пригодны, когда других монет не отыскать... Чтоб расплатится за банкет воспоминаний...» Он бежал от прошлого, как бежал от своих кредиторов Оноре Бальзак.

Кралечкин в юности слыл страстным нумизматом, дорожил наполеондором, плебейским четвертаком, медным массивным пятаком и такой старушечьей мелюзгой из бабушкиной заначки, как пятиалтынники с дырочками – когда-то их носили в ушах красные девицы-крестьянки.

Вот каким бездвижным частным крипто-капиталом он владел в эпоху развитого социализма, уже загнивающего мелкобуржуазными ценностями партийной номенклатуры, будущего могильщика СССР! Копилка ныне опустошена. Букетик жизни увял, верхи поникли, перегной, труха...

«Были розы хищными, стали розы нищими», – тихонько напевал Кралечкин декадентско-мещанскую песенку из заезженного рижского винила фирмы «Мелодия»...

– Не бойся, подойди, стань у края...

– Я – ошибка жизни...

– Ну, так что ж!

– Я сам себя в себе нашёл случайно...

Кралечкин, холодея, наблюдал отрешенно, как в бледном небе шарил болезненный вороватый луч прожектора, вырисовывая фантастические гиероглифы, проникая в окна комнаты на седьмом этаже, и отражался в старческих зеркалах, в серванте с пыльным хрусталём, австрийским фарфором из разорённого войной дома архитектора Витгенштейна в Вене (папин военный трофей). Он пытался разгадать смысл начертаний.

Порхали зловещие тени крыльев гигантской чёрной экзотической бабочки, будто слетевшей со страниц рассказа писателя-самоубийцы А. Рюносукэ – нет, передумал Кралечкин, бабочки выпорхнули из ладоней Марго. Они зачитывались когда-то томиком новелл японского неврастеника под трепет волн Невы, сидя под Сфинксом у здания Восточного факультета.

О бабочке, переливающейся inferнальной гаммой, она много и восхищённо рассказывала, когда гуляли вдвоем, будто влюблённые. Она сцепляла большими пальцами ладони, изображая трепет крыльев, хаотичный полёт сибирской бабочки в порывах ветра, бегая и прыгая через болотные волны неевского прибоя, декламируя подцензурную поэзию: «...Пели скрипки, вы плясали. Группы бабочек и лилий на шелку зеленоватом, как живые, говорили с электрическим

закатом...» Кралечкин не знал этих стихов (и, слава богу, так можно и в Петропавловку угодить) и был зачарован тайнознанием Марго. «Откуда она всё это черпает? Из какой ноосферы?» – спрашивал себя Кралечкин. «У бабочки кружится голова! – говорила девушка, поправляя жиденькие русые волосы. – Она, психея, рождается для смерти, и умирает для жизни – как начертано на книге в живописном полотне Марии фон Остервейк».

Кралечкин, невежа, смутился.

...«Легконогая, легкокрылая, словно бабочка весела, и не страшная, и не милая, а такая же, как была», – вспоминал стихи Кралечкин, склоняясь над образом отвернувшейся от него возлюбленной музыки.

Они бухались наземь и вытряхивали крупички кварца и слюды из её тупоносых бледно-розовых туфельек с ремешком на металлической пряжке. «Вот какие у меня венерины башмачки! Так называют у нас лесные орхидеи», – жеманно говорила его подружка, нахваливая свои старомодные туфельки. Этот блеск пряжки сейчас вспомнился Кралечкину.

Само собой стала вырастать повесть о любви; слова вязались со словами ловко и цепко, как мышинный горошек в описании Карла Линнея, как бывает только во сне или в поезде дальнего следования на Трасссиге до Тихого океана, где колёса становились благодарными слушателями, порой даже соавторами; так бабушка, петля за петлёй, сучила звонкими

спицами, когда вязала для него шерстяные носочки из нити распущенных маминых беретиков...

Прошлое со всеми его подробностями и стыдными нелепостями надвигалось на него, словно кирпичный трамвай, выползавший из густого облака тревожных воспоминаний мимо призрака Знаменской церкви. Вдоль всего вагона красовалась грозная надпись: «Коммунизм – могила проституции». Трамвай протрусил по проспекту Нахимсона на окраину жизни в семиотической реальности Ленинграда, исчезая в серебряном сонме видений, вырастающих из глубины филологической души Кралечкина, улизнувшего за изящной чугунной решёткой в сквер Сан-Галли.

Здесь должно случиться с ним что-то страшное, поэтому он прятался за старым вязом, принимая всякого прохожего за чубаровского гопника. Кралечкин прилёг ухом у водосточной трубы, притворяясь пьяным. Недолго лежал Кралечкин под ржавой трубой. Из неё сыпалась ржа, и закурлыкали голубки – нежно-нежно. Было жёстко лежать, правое ухо пристыло, к тому же огузье подмокло. Судорожная жуть прокатилась по трубе. «Иерихона мать!» – выругался не свойственно Кралечкин. Водосточная труба загудела ахматовским голосом: «Бери свой челн, плыви...» Земля забила под сердцем у Кралечкина, словно грудь возлюбленной голубки. Он хотел было ответить, но горло не отпускало звуки, будто запруженное. Вдруг вместо него водосточная тру-

ба запела божественным контратенором: «Amarilli, mia bella, non credi, o del mio cor dolce desio, d'esser tu l'amor mio?» Голос стекал вдоль затылка, скатывался по спине <нрзб>.

Краем глаза он увидел кем-то брошенные штаны, белые, парусиновые, хорошие, можно еще носить, выйти в них в люди, и решил подложить их под голову для мягкости. Он потянул за штанину, а из неё вылезла мужская нога целиком – голая, босая, волосатая. Вполне ничего себе нога, здоровая да живая, пальцы игриво шевелятся. Нога сама по себе, без человека. «Ещё пригодится, – практично подумал Кралечкин. – Подставлю эту ногу под письменный стол, пусть подпирает, а то шатается под тяжестью дум». Взял ногу под мышку и пошёл на трамвай, проезжавший по Лиговскому проспекту в сторону Волкова кладбища. Луна, присыпанная белой пудрой, будто жеманница, скользила то по рельсам, то с правой стороны. А нога того и ждала, чтобы заманить Кралечкина да надругаться над ним противоестественным способом. Нога была художественно одарённой, умела писать каллиграфическим почерком. Она сочиняла. «Links! Links! Links!»

В одночасье душа въедливого буквоеда превратилась в блуждающий трамвай из красного кирпича. В дребезжащем трамвае у окна ехал на окраину города Николай Гоголь, кропя слезой и хлебными крошками мягкое плечо Михаила Кралечкина, быстро шептал: «Когда ночное небо бесплотно обнимается вдохновением и земля полна непонятной

любви к нему, ни те живые чувства, пробуждающиеся у нас мгновенно, когда чудный город гремит и блещет, мосты дрожат, толпы людей и теней мелькают по улицам и по палевым стенам домов-гигантов, которых окна, как бесчисленные огненные очи, кидают пламенные дороги на снежную мостовую, так странно сливающиеся с серебряным светом месяца, – ничто не в состоянии было его вывести из какой-то торжественной задумчивости; какая-то священная грусть, тихое негодование сохранялось в чертах его, как будто он слышал в душе своей пророчество о вечности, как будто душа его терпела муки, невыразимые, непостижимые для земного...»

6

...Луч прожектора метался в колодце бледного полуночного ленинградского неба, словно предсмертная мысль встревоженного межеумья Михаила Кралечкина (в торжественные моменты он именовал себя Мафусаилом, в печальные дни бедным Мисаилом) в одну из апрельских бессонных ночей накануне его шестидесяти восьмилетия.

Двойственность его имени породила в нём навязчивую мысль об идее двойственности всего и вся на свете. Образы воспоминаний расслаивались радугой, как бензин в луже. На пару секунд ум его заняла космология «двойных звёзд», существование которых (по рассказам астрофизика В. Шкловского) завершается зверским «пожиранием» одной из двух, более мощной («Какой-то космический социал-дарвинизм!»); затем мысль его шарахнулась испуганно в сторону идеи смерти, «черной дыры». Будущее представлялось неизбежной встречей с чем-то чудовищным и с чем-то хищным, как древнее Sthulhu из прочитанного на ночь им романа...

Лунатик «фешенебельного района гражданки» глубоко и меланхолично затянулся едким табачным дымом, сладко проникающим в альвеолы дряблых лёгких. Доктор простукивал грудь, заглядывал ему в рот: «Ну и каверны у вас, гос-

подин профессор! Закоксовались, дорогой товарищ, как у шахтера донбасского! Шлаки, шлаки... Хоть уголь добывай на-гора, хоть штольни пробивай! Шлаки, шлаки».

А теперь жизнь его удалялась от него, как уходящий в депо последний трамвай с развевающимся оранжевым флажком. Он вспомнил, что плоть его еще живёхонька и, слава богу, нуждается в нежности и ласке, а душа его – в утешении ангельском. Где же то ласковое слово, где же та ласкающая рука? Рука, которая порхала, как бархатная бабочка... Если можно было бы жить одним духом! Если можно было бы задушить зверька своей плоти, свернуть ему шею, о! Кралечкин сжал свои гениталии.

Он вспомнил фразу из дневника Михаила Пришвина о том, как певец страны непуганых ворон обрёл счастье только под старость лет, когда от него сбежал этот похотливый зверь-мучитель, и прикинул цифирь к своему возрасту. Долго ль ещё тешить этого похотливого зверька? Мысль растворилась льдинкой в сладостную негу и расплылась по старческим членам, спустилась к изножью буквой «йода».

Заныли икры, будто из них тянули невод. Он стал разминать и ласкать мышцы, адали (словно) выдавливал из толстой брюшины лосося (которого тягал Пришвин) зернистую икру. Из отверстой вены полезли красные зёрна, потекли на стопы, мерзко, склизко, отвратительно. Подбежала собака, понюхала. Ей подумалось: «То ли Кралечкин народился из икры, то ли ещё кто...»

Михаил Кралечкин поплёлся в постель без надежды на ласку, оставляя за собой зернистый красный след икры. Что за безнадёга! Ум его начинал беспричинно егозить, когда одна заря сменяет другую, когда властелин времени в часах на Думской башне бывшего городского Собрания начинал мелодично бить в колокола. Кралечкин упал в глубокий сон, расцветающий ряской на Муринском пруду.

Всякие мысли навязчиво лезли в его голову одновременно изо всех щелей, щекотали его отравленные ядом интеллектуальной деятельности нейроны, похожие на щупальца, хоботки, усики, заусенцы у насекомых, вроде сколопендры. Уже нельзя было отличить свои мысли от чужих мыслей – и все они сбивались в какую-нибудь временную агломерацию бесформенных незримых идей, в звонко-звонящее стадо зловредных насекомых, чтобы завладеть угасающим мозгом Кралечкина...

Ему мерещилось, что кто-то воровато шарил в его голове, перебирая хаотические образы для неприхотливых писательских подлых, подлых, подлых нужд. Этим вором был усатый сом, рыскавший в иле его памяти. Красть у него было нечего, шаром покати, будто амбар памяти и эфемерных чувств разнесли неверные легкомысленные музы, хариты... Подумал о деньгах. Посчитал в уме мелочь. Хватит ли на ржавую селёдку? Вздохнул тяжко. Всплакнул горько. В горле пересохло, трудно было сглотнуть. Язык присох к нёбу – шершавому, как пески пустыни Каракумы.

Коллекцию своих старых книг, трухлявых фолиантов, за которыми страстно охотился прежде, питаемый филологической жадой всезнайства, он собирался продать скопом за двадцать тысяч несчастных рублей. Покупатель не спешил на его объявление, которое звучало по утрам, под кофеёк, из проводной радиоточки в домах анемичных петербуржцев, не выспавшихся между первой и второй зарей.

Собаки спали в прихожей, всхлипывая и похрапывая. Им что-то снилось, тревожное, вздыхали они тяжело, по-человечьи и, кажется, весьма осмысленно.

Им снился любимый Кралечкин – властелин их судьбы, их бог на длинном поводке. Им снилось, как он выгуливает их в Муринских болотах, куда хаживал собирать по осени красную и чёрную рябину; снилось, как он спустил поводок, как они рванулись вперёд со всех ног за воображаемой птицей, оказавшейся большим белым хохлатым попугаем, да налетели на дымящийся мангал с шашлыком отдыхающих гастарбайтеров из бывших братских азиатских республик.

Лапы собаки засучили, застучали по паркету барабанной дробью.

Когда собаки остановились над какой-то кучей хлама вблизи Муринского кладбища, подошёл Кралечкин и прищелкнул. В груде мусора он увидел свои вещи из кабинета: тетради, дневники, книги стихов, черно-белые фотографии своего кумира, японскую шкатулку с дамой в кимоно.

но; в шкатулке короткое стихотворение иероглифами; валялись карандаши, монетки, пластинки, пожалел плюшевого медвежонка со слизняком на носу... «Лучшая судьба поэта – быть забытым», – прошептал Кралечкин, обиженный болотной сыростью. Он поднял фотографию генералиссимуса Сталина, прочитал над ним: «Недвижный страж дремал на царственном пороге...» Вот на фотографии сидят за прямоугольным столом а ля труа Зинаида Гиппиус отдельно, а напротив неё бородато-усатые интеллектуалы-мирискусники – Мережковский с Философовым (они поедали запечённого младенца); фотография Царскосельской Мариинской гимназии; вот пикник в весеннем лесу со снedyю на земле а ля Ренуар – с тремя дамами: одна разливает вино стоя, другая сидит с тонким корнетом, который жестикулирует, разводит руками, и двумя денди под деревом; один в шляпе таблеткой смотрит в объектив, другой прислонился к дереву спиной... Вот Недоброво, вот Ахматова в 14 году, уже шла Первая Мировая... Б. Анреп в мастерской... вот открытки из собрания Ирины и Марка Баженовых: всё об Анне Ахматовой... художника Фаворского... Чужая далёкая жизнь мелькала перед глазами Кралечкиным, как картинки в окне поезда... Молодой человек на фотографии, Василий Комаровский произнёс: «Видал тебя красивой лишь раз. Как дымное море, сини глаза. Счастливо лицо. Печальна походка. В май в то время зацвёл, и воздух цветом и солью был растворён. Сияла Нева. Робкою грудью усталые люди дышали.

Ты была влюблена, повинуюсь властному солнцу. И ждала, а сердце, сгорая, пело надеждой. Я же, случайно увидев только завесу, помню тот день. Тебя ли я знаю и помню? Или это лишь молодость – общая чаша?» Посреди мусорной кучи цвёл эвкалипт. Обречённо лежали отсыревшие бумаги, прошитые нитками, скреплённые поплывшей печатью и сургучом, заверенные государственным нотариусом. Он узнавал свой мелкокалиберный почерк. Кралечкин брезгливо взял листики в руки, стряхивая мусор, поднёс к носу, нахмурился подслеповато. Выпятил губу. Это было его завещание.

«... по смерти моей завещаю свой мозг для дальнейших гистологических исследований его природы гениальности и ничтожества Институту Мозга, лично профессору Савельеву, выдающемуся русскому учёному, последователю основоположников анализа индивидуальной изменчивости мозга Елизаветы Кононовой и Ивана Филимонова...»

Он ахнул. Всплеснул руками.

И всё понял в один вздох. Будто попал на урок анатомии доктора Тульпа. Будто увидел на анатомируемом столе своё собственное тело с разрезанным животом, с отверстыми кишками. На лице у него лежала газета «Вечерний Ленинград» за 8 сентября 1964 года. Статья вопила благим матом: «Тунеядцам не место в нашем городе». Сердце его запрыгало, как девочка-пионерка со скакалкой, отсчитывая последние мгновения его жизни... Ноздри его, вдыхая запах, тянулись к жизни.

Зловоние Муринского ручья не выносили даже «серые шейки», облетали его стороной...

Кралечкин задыхался.

Так серебряные караси на мелководье хлопают ртами, шамкая труху, гниль, ил.

В квартире пахло кобелиной и сучарой. Пахло мясным отваром. Пахло табачным дымом. Пахло плесенью, высохшим обувным кремом, пылью, бетоном. Пахло шерстью, случкой, течкой. Пахло блаженной смертью, пахло «залавкой», где скопилась всякая дрянь, ветошь, сор, мелюзга.

«А-а-а! Чи-ка! Не мертви меня! А-а-а! Чи-ка!» – стонал Кралечкин в смертном полубреде. Он дважды громко чихнул – вполне выздоравливающий пациент. По спине пробежали мурашки, как испуганные блохи под хвост дворняжке. Шлейф запахов окутывал его заложенный нос.

Казалось, что рот его туго затянули шарфом, как в далёком уютном одиноком детстве, когда его отпускали погулять в заснеженный двор в северной деревне. Он стоял за калиткой, и ветер развивал длинные концы его шарфика.

Дымы отечества, горькие дымы из труб деревенских изб радостно и тревожно сплетались и расплетались...

Деревня из беспорядочной кучи хижин располагалась на взгорке в узком устье реки Оять. В летних обжигающих струях реки под голубым небом августа он познавал стыдливую наготу и бесстыдный эрос своего тщедушного тела.

Чтобы утолить жажду, Миша тщетно целовал «хмелеки-

пящий» поток весеннего весёлого сладострастия реки Оять, подобно отроку-отшельнику, уже предуготовленному духовно к оскоплению для безгрешной жизни, для вечности, для благодати.

Старчество неспешно входило в возраст святого детства, несмышлёного младенчества, утробного счастливого солипсизма, где для всего было место и всему было время. По мере прибавления лет он стал придерживаться такого негативного философского суждения, позаимствованного у русского критика Николая Страхова (перед которым робел даже Лев Толстой), что если долго отрицать время, то можно, в конце концов, обрести вечность. «Времени нет, времени нет, нет, нет...» – заклинал время Кралечкин, отменяя смерть. Когда в детстве у него тонула собака, он умолял со слезами своею нравную реку остановить своё течение. Стоял на берегу, и речной поток казался ему Отцом. Никогда настоящий его отец не сказал ему «сын» или «сыночка», а всегда звал только «Мишка» или «Мишуга». И ни разу «Мишутка».

А собаку унесло...

На голой бетонной стене с приставленной к ней кроватью висел постер с ночными небоскрёбами Нью-Йорка, фаллическими башнями-близнецами (уже стертыми с лица земли адскими железными птицами апокалипсиса).

При определённом ракурсе, когда случайно бросаешь взгляд на этот постер, представлялось открытое ленинградское окно с видом на шумную, грохочущую, урчащую, клочущую городскую анатомию Уолл-стрита. В кишечнике нью-йоркских улиц кишмя кишела пугающая жизнь огней, рассеянных офсетным зрением Кралечкина. Внизу сновали в обе стороны жуки-скарабей-авто, гудя и крякая старомодными клаксонами, наигрывая фигуры и формы модернистского воздуха по партитурам Артура Лурье, усердного католика, исправно нарушавшего седьмую и десятую заповедь. На какой-то сквозной авеню спускались в метрополитен серые пиджаки и чёрные котелки, непритязательно и навязчиво рифмующиеся со словом «парвеню». Толпа вдруг превратилась в огромную флегматичную рептилию, озирающуюся по сторонам, ползущую на ослабленном поводке в чьей-то оппортунистической руке, какого-то фармазона в чёрном фраке.

...Стоит отдернуть светлую голову из ночи отверстого ок-

на, из какофонии чуждой ему социальности, и ты будешь спасён наверняка, пожизненно. Кралечкина, зачарованного волшебством скверны мегаполиса, влечёт страшное и запретное, постыдное и омерзительное. Он ищет слепым взором живого человека – вора. Что же он должен украсть? Навстречу городской рептилии, что ощерила белую кость зубов, отважно перепрыгивая через гнойные язвы капитализма, спешила в красной долгополой шляпе, в сиреновом демисезонном пальто, с нотами «Арапа» под мышкой пани Армида – жена, любовница, посудомойка, хлопотунья, хранительница очага, писательница, муза, будто выпорхнувшая из шанхайской песенки Александра Вертинского. Цветок голубой пассифлоры цвёл у неё на груди.

Армида, обладая маленьким альтом, напевала на ходу все партии – то тенора, то баса, то контральто, то сопрано, то меццо-сопрано, однако спешила не в Metropolitan Opera к безголосым американцам, не на концерт «И Виртуози ди Рома», не в «Освобождённый Иерусалим», а как всегда на постылую службу – то в странноприимный дом русских эмигрантов, к старухам да старикам, впавшим в тягчайший старосветский маразм; то к малолетним преступникам и наркоманам и обездоленным и несчастным двуногим, то в ювелирный магазин «Tiffany» за прилавок, то в редакцию журнала «Новое русское слово» за колонку «Забывтые люди» – чтобы в этом «крокодилем раю» между делом предстать в лирико-драматических образах Петра Великого, Ибраги-

ма Ганнибала, арапа, Элеоноры, Амура, русского офицера Корсакова, пленного шведа, Дуры, шутихи князя Ржевского, княжны Наташи, карлицы Наны, хозяйки постоялого двора...

«Я пропала, вы меня погубили... Мой муж меня убьет!»

«Он так добр, а я... я могла изменить ему... и для кого? для изверга!»

«Какое низкое коварство! Ах, нет нелепицы такой, которой...»

«Божий лик я искал и нашел во вселенной многозвездную ночь...»

«Среди планет круженья, в эфирной мгле виден порог небытия, где дышит древний хаос».

«Monsieur... mamzelle... L'assemblée... pardon...»

«Счастье не может продолжаться...»

«Ужо тебе!»

О, воображение смертного сна!

Эйфория смерти!

«Я бьюсь крылами за ужас земного существования!»

Сгинь!

Изыди, птица Додо!

Я безумствую, немотствую, тоскую... Голос отвечал: «Да-да».

Музыка заполняла слух Михаила Кралечкина рваными фразами, срываемыми с виниловой пластинки на старень-

ком проигрывателе «Серенада». Сияла райская реклама капиталистического мира, заманивая в чащобы сладострастия, непристойных фантазий, музыкальных аллюзий.

Всё дело в шляпе, как сказал бы начинающий крипто-аналитик, потирая усталые руки, счастливый своим зашифрованным шизофреническим символизмом. Михаил Кралечкин свернулся войлочным клубочком на кушетке и созерцал в своем угасающем сознании «эволюцию образа автора» в поэзии Ахматовой, которая стала являться ему в образах лапландских ведьм на картинах Иоганна Генриха Фюссли, столь любимого Доктором Сексуальная Одержимость.

Этот постер навевал ему тусклые мысли об одной русско-итальянско-китайской даме из его эпистолярного незавершенного повествования, которая завещала ему золотой перстень с рубином с пальца её возлюбленного музыканта-эмигранта, бывшего возлюбленного ААА, навечно забытого в кресле-качалке в нью-йоркской квартире среди невымытой посуды. Перстень пропал.

Под кроватью он заметил советский литературно-художественный журнал «Октябрь», в нём было заложено письмо от этой наследницы массивного золотого перстня с рубиновым камнем. Он потянулся за письмом, будто за смыслом своей жизни.

Вот заграничное письмо от Армиды рассердилось на него не на шутку, притопнуло ногой, поджало губы, выдало со-

ловынную тираду: «Дружочек мой, деточка, малыш, бедный мой обалдуй, отстаньте вы от меня со своей эпигонкой, с этой Ахматовой, ибо не люблю я эту выдумщицу, притворщицу, распутницу, хромоножку! Ахматовскую музу, если бы вы знали, сочинил миллионер-картёжник Н. Некрасов после того, когда увидел, как высекли розгами молодую крестьянку на Сенной, у метро. Видимо, было, за что пороть девку! Поэтесс надо пороть ремнём! Пусть не узорчатым ремнём, а бархатным <нрзб>! Жертва некрасовского поэтического произвола стала жертвенной музой вашей Ахматовой, любимый мой друг Мишенька. Оттуда растут её ноги! Давайте, я лучше расскажу вам, как я любила гения, а вы напишете книгу, которая прославит вас во веки веков...»

Неужели и дальше жить с этим бредом посмертно?

Он снова громко чихнул, будто заражённый самопрезрением. Ночной незримый снайпер сбивал его мысли влёт.

Темечко его тихо лысело, словно пух чертополоха. Подранками мысли его падали беззвучно в чешуйчатую кожу Невы. Кто-то презрительно сплёвывал с Египетского моста. Это был призрак старого моста, до его обрушения под пешеходами. Цепи его напевали в ночи погребальную песнь. Промчался легковой извозчик. Чугунные сфинксы оставались безучастными. Кралечкин шептал: «И под мостом поплыву, раскачиваясь, мёртвый, на воду сорванным листом...»

...О, да!

Что – о? Что – да?

Это был кто-то знакомый, до боли знакомый.

Имя его никак не вспоминалось, вертелось у Кралечки-на на кончике языка, как типун! Он сплёвывал вымученные мысли, его сокровенные мысли, рождающиеся в скверне и нежности, в похоти и тщеславии, в отчаянии и бессилии, в беславии и в забвении.

Было стрёмно, как сказал бы гопник Мау Линь, приближаться к нему, но что-то влекло, какая-то таинственная страсть. «О луна, ночная бздунья, испугалась ль ты петербургской ночи или пьяного гуляки на Египетском мосту?» – пролепетал Кралечкин, наскребя из-под лопаток хилого мужества ...

...То был силуэт юноши в армейском бушлате с пышной копной темных волос. Он хотел к нему подойти, ноги подкашивались, влечение к этому силуэту было внезапным, болезненным, острым, как костяшки сжатых в кулак пальцев – о, если б он смазал его по лицу, как в тот раз, в школьном классе после урока, когда едва не подрались...

«Эх, Женя, Женечка! – горестно прошептал Миша Кралечкин и стиснул зубы. – Зачем же так! Лицом в сугроб!

Насмерть! Отныне ты не заденешь меня своим протёртым локтем, сидя за одной коричневой партой с общей чернильницей-непроливайкой, не ткнёшь пером в колено на уроке, не улыбнёшься краешком рта, не вздёрнешь презрительно верхнюю губу с чёрным пушком, читая тайком из-под парты книжку «Необычайные приключения Карика и Вали» Яна Ларри, единоличного писателя Сталина. Какая трогательная наивность!»

Михаил Кралечкин почувствовал жаркий прилив жалости к себе, щемящую утрату своего имени, растрату своего времени, забвения места... а вслед за этим утрату своего рыхлого и блеклого, как трава сныть, советского бытия, за которое цеплялся, как репейник за хвост собаки Сенмурва...

«О, странна и нелепа жизнь м-а-а-а-ленького советского челове-е-ека в либеральном царстве профессиональных клептоманов!» – кургузо громоздились возмущённые слова в его голове. Ему казалось, что рот его был набит свейским янтарём.

Сумбурная тирада никак не связывались в изящный иероглифический рисунок его мысли – слова скатывались на языке в войлочный клубок, в законченную жалобу на судьбу, которая нежно шептала ему на иврите: «Осим хаим»...

А в ответ, не слыша её, он приговаривал тихо: «Сир я и мал, сам я устал». Страхи его перекочевали в старость и закоренели, как паразитические наросты на деревьях.

«О, быть деревом, чтоб не чувствовать одиночества...» У Миши Кралечкина медленно тлело, как бикфордов шнур, подозрение, будто его самого взяли да сплюнули в невскую канавку. И плывёт он плевком вслед за окурком-корабликом...

Он закрыл глаза, заглянул вглубь себя и ужаснулся. Там текли по жилам мутные каналы Ленинграда, крикливые туристические катера с китайскими туристами, размахивающими красными флажками...

Кралечкин очнулся, когда его тронули тонкие пальцы за колено: «Миша, дай мне карандаши и бумагу, я нарисую тебе письма счастья. Я буду всегда писать тебе большие длинные письма. Ангелы будут приносить тебе мои письма на тот свет. А ты возьмёшь меня с собой в Иерусалим Небесный?»

Михаил Кралечкин возрадовался: «Доблесть моя, звёздочка рубиновая, сияющая на солнце, мой скалистый остров Кларэнс, плывущий среди белых льдов в бурном море, ты, беленький заячий хвостик моей жизни, ты мой Ведмедик клишоногий, счастье моё. Сейчас, сейчас, поищу карандашики, сейчас найду тебе и бумагу белую. Вот, мой принц, возьми альбом, вот карандаши, пиши мне письма длинные-длинные, калякай, малыш. И не забудь приклеить марочку на конверт – ту, что я тебе подарил, когда будешь отправлять письмо!»

Столько литературных аллюзий, сколько географическо-

го одиночества в новом имени этого мальчика! Мальчик с волосами долгогривого халдея, что кучерявились арабской вязью, тонкий, как веточка отцветающей сакуры в ботаническом саду на Петроградской стороне, расположился на паркетном полу, вытянув раздвинутые ноги поперёк комнаты, послунывил во рту огрызок химического карандаша, стал что-то усердно рисовать, какие-то графические линии и тёмные фигуры, числа, квадратные корни, интегралы, алеф, бета, шин и те и другие символы бесконечной множественности вселенных.

Из угла в угол, по диагонали листа протянулись рельсы, потом на них был возведён блокадный трамвай, похожий на кирпичный дом с грубыми мASONскими символами каменщиков. В детском рисунке было столько любопытных подробностей, что общее и целое исчезало. Над ним свисали провода с ласточками; открылись двери, стали входить пассажиры, в хвосте у очереди стояли лисёнок и ёжик, каждый со своим хитрым секретом на уме, а замыкал сердечный иероглиф «#».

...Трамвай поехал сквозь пустошь. Постепенно путь его обрастал городским пейзажем между жизнью и смертью. Мише захотелось стать если не героем, то хотя бы пассажиром этого рисованного трамвая, дребезжащего по ржавым

рельсам ложных воспоминаний шестимерного мира, подобию и неправдоподобиям, поддельных дневников его подпольного двойственного существования в непечатных литературных кулуарах на Муринских болотах.

За трамваем бежала собака в районе Пяти Углов.

«Лиджи, Лиджи», – басовито звала Акума.

Собака пробежала мимо красивого и усталого и потерянного человека, похожего на философа Людвиг Витгенштейна в шевровых ботинках, в перчатках и шелковом бежевом кашне. Собака оглянулась, чтобы убедиться, не хотел ли человек кинуть ей подачку, косточку мозговую или хрящик. Мимо философа прогрохотал переполненный трамвай со свисающими на поручнях пассажирами в рабочей одежде. С одного упала к его ногам замасленная кепка. Приторный ванильный запах духов вспыхнул с правой стороны, и у него зашекетало в носу. Какая-то оргия шифона и мехов, бостона и крепдешина прошуршала с весёлым смехом мимо слегка растерянного иностранца.

Моложавый, одетый не по климату, с «Кратким изложением Евангелия» Л.Н. Толстого в руках, будто апостол, оксфордский философ тревожно озирался по сторонам советской действительности, казавшейся ему одновременно и архаичной, и авангардистской.

Людвиг Витгенштейн неловко переложил брошюру в другой карман, достал блокнот, перелистал страницы в поисках адреса: «Остров Или. Кладбище всех душ. Институт Севе-

ра. Ул. Достоевского д. 30, кв. 24». Над философом молча пролетала ворона, без оглядки, целеустремлённо. Философ поклонился в пояс чёрной птице, произнёс:

– На чужой сторонушке поклонимся воронушке.

– И чтоб ворон не прилетел из Кракова! – услышал он царский грозный окрик проходящего юродивого, провожавшего взглядом птицу.

В клюве у неё истошно пищала крыса, яростно отбиваясь хвостом, перья летели вертопрахом. Собака тоже радостно залаяла вслед.

«А где ночует ворона? – загадочно подумал логик:

– Собаки лают, да глядят в окно мечтатели. Ничего, ничего, болтовня ваша бессмысленна, а страдания, которые терпевает Россия, обещают нечто великое в будущем...» Наперерез его нелогичным мыслям проехал трамвай, выпучив глаза, словно рак с диагнозом базедовой болезни. В окно выглядывал мальчик с зайчиком в руках, высунул язык. На подножке висела девушка в белом платье в горошек, к ней прижимался рабочий парень.

Спешил трамвай, на одном сиденье лежала забытая папка для документов с рукописью романа...

– Держи меня крепче, я выскользну! – крикнула девушка.

Мальчик вынул из кармана трубку детского калейдоско-

па, приставил к глазу. Поделился с Кралечкиным. Тотчас оба очутились в ленинградском цирке Чинизелли. Вышел клоун в страшной маске, взмахнул руками. Три раза произнёс волшебное слово «мандала».

Над головами зрителей завертелся зеркальный шар, отражаясь разноцветными огнями по лицам зрителей. Купол цирка превратился в небесный свод, по которому побежали звероподобные существа, повелители небес. Голос клоуна декламировал мандалу: «В цирке Чинизелли взлетает интегралом акробат, и формулу небытия под золотым платком выносит фокусник...»

Мальчик испугался и отбросил калейдоскоп. Прижался к ноге Кралечкина. Снова стал рисовать в альбоме. Трамвай был его неприятной мыслью. Трамвай двигался усилением мысли пятью таинственными изгибами, словно блуждая в коллизиях и контроверзах ума, воображения, мышления, рассуждения, памяти, метафизики, диалектики, бреда. Семь бешеных псов мчались с лаем за трамваем. Два других скучали. И всё, что мальчик рисовал, зловеще воплощалось в жизни Кралечкина.

Новостные порталы наперебой сообщали, что в музее Ахматовой завёлся шумный немецкоязычный полтергейст. Он опрокидывает экспозиции, мстя исследователям жизни и

творчества великой поэтессы, перепугал служащих, а смотрительница Колтухова, напыщенная ахматоведка, компиляторша, по прозвищу Ктулху, упала в обморок, билась в припадках с расчёской в зубах – всё это случилось во всемирную Ночь Музеев, будь она неладна!

Случались и прекрасные видения, когда музейный дух был в добром расположении. В музее на Фонтанке Акума прохаживалась между посетителями в скромном образе «Прекрасной шоколадницы», сошедшей с полотна Лиотара, и подавала всем по чашечке горячего шоколада, приговаривая ласково: «Закукулено, замумулено, заколочено, зазамочено...»

Все знатоки знают, что Ахматова любила раздавать сладости малознакомым посторонним людям. В этом она была царственна. И никто не мог заподозрить в этой шоколаднице злобного духа ААА, но другой Лиотар сказал бы, что дух распри метанарративов для языковых игр в глубинной грамматике нисколько не чужд сладкому. Мы же дети, в конце концов!

Акума как дух распри вольготно чувствовала себя на поле битв метанарративов, перебегая из одного стана в другой, как от одного мужа к другому, оставаясь верной себе по сути.

На Набережной Мойки, 12, в музее-квартире Пушкина, в дождливый день Акума не шалила, была тиха и скромна, как монашка. Следом за ней гулял Учёный Кот, музейный аниматор-экскурсовод. Она гладила его за ушком, тягала за

усы, кормила мойвой из сумочки. Учёный Кот сладко урчал, будто в рот ему вставили варган, ластился о её ногу в войлочных ботах без калош.

Акума, в головокружительной ауре сладкой неги, источая аромат духов «Цикламен» от Пивера, доставшихся ей на доньшке затёртого пузырька из наследия одноплеменника Фёдора Сологуба, излучала святое благолепие и даже попила чаю из самовара вместе с сотрудниками музея-квартиры Пушкина.

Один из них, скажем, вечный юноша, весьма напоминая лицом, хитроватыми глазами, жиденькой бородёнкой и усами карандашный автопортрет Леона Бакста, поблескивая золотым ободком своих очков, промурлыкал старушке учтиво:

– Будьте любезны, присаживайтесь, госпожа! В ногах правды нет. – И поводя носом, пропел меццо-сопрано: – Три духа живут в цикламене, – сладкою амброзией пахнет бедный цветок.

Все музейные жеманницы заплодировали, закудахтали о персидском первоцвете, что произрастает в японском саду на набережной реки Карповки. – Угощайтесь марципановым печеньем, говорят, оно помогает от нервных расстройств, – присоединился к приглашению кто-то другой.

– Во временные лета, помнится, на Конногвардейском бульваре у Филиппова вкусными пирожками с капустой промышляли, наедались досыта... – сказала мечтательно гостья.

Добрая посетительница представилась Акумой Акакиев-

ной.

– Прежде я была красавица-девица, в русском стиле: и нос был круглый, и лицо было круглое, и щеки были круглые, цвет лица кирпичный, чуточку смугловатый от деда Ахмата, и аппетит зверский, не то, что нынче.

Она присела на предложенный шаткий стул, на коем сидел в прихожей любимый кучер Пушкина. В долгу не осталась, пошарила в карманах. Сначала достала гребень «Гейша» с обломанными зубцами и несколькими прядями крашенных волос. «Нет, это подарок от Оленьки Судейкиной». Спрятала винтажную вещичку. Снова прошуршала рукой и вынула железную плоскую баночку с надписью по кругу «Завод Красный Резинщик. Киев», тоже спрятала без смущения. Ещё раз пошарила и, наконец, вынула то, что искала: жмыховую конфетку в бесцветной замызганной обертке, много лет хранимую за подкладкой.

– Угощайтесь, Алексей Викторович, – обратилась она к анимированному à la автопортрету Леона Бакста, – я берегу её со времён эвакуации в Ташкенте, аж с 1943 года! Если в ногах нет правды, как вы утверждаете, то в искусстве тем более не ищите правды. Логично? Хоть и говорят, что у женщин нет ни логики, ни точности в определении, за то у них бывают хорошенькие ножи, вот полюбуйтесь. – Акума выставила ноги и покрутила носком туфли. – Основы правды зыбки, согласитесь, молодой человек. У вас ум свежий. В искусстве должна торжествовать асимметрия, ибо симметрия

скупна. Угу, скупна, как пыль за лавкой в романах у Достоевского. У правды есть вкус и привкус и послевкусие. Жалко только, что жизнь уходит, такая грустная совсем-совсем...

Сентенции запили бокалом белого Chardonnay с привкусом крыжовника.

Видимо, она долго носила в себе эту сакраментальную мысль и, наконец, нашла достойные уши, чтобы высказать её в присутствии официальных свидетелей, которые могли бы подтвердить её авторство в случае умышленного плагиата. Ныне завелись такие писатели, что не церемонятся, берут всё, что плохо лежит, украдут чужую мысль, ищи-свищи в поле ветра, если не успеешь донести до читателя печатно... Мысль-то что, тут недавно роман украли!

– А вы, угощайтесь апельсином, Акума Акакиевна, – любезничал Алексей Викторович, выкатив на стол оранжевый фрукт перед гостьей. – Теперь вы, прямо-таки декадентка fin de siècle, из портрета Леона Бакста, помните, эту стильную, тонкую, как горностай, с таинственной улыбкой, à la Джо-конда, что кушает апельсины женщину?»

Всё рассмеялись.

Акума пришла, прихрамывая, мопассановская Хромуля. Пришла, как обычный петербургский посетитель. Она была в креп-шифоне, «в юбках шёлковых фру-фру», в накладной причёске в стиле парижской куртизанки Нинон де Ланкло.

Она долго стояла у портрета А.С. Пушкина изящной кисти Ореста Кипренского. Акума светлела лицом, лучилась глазами. И побагровела, и темнела, когда взгляд её упал на женский портрет плотничьей блондинки, обозначенный в записной книжке поэта под номером 111.

Акума отворачивалась от портрета Наталии Николаевны – «чистейшей прелести чистейший образец». Пожухлые губы её со скатавшейся в уголках помадой кирпичного цвета плотно сжимались. Она искала сходства с копией «Бриджотерской мадонны» Рафаэля и к своему удовлетворению не находила ни двух и ни одной капли.

«Моя косая мадонна! Воистину! Бой-баба, а не шкурка ведь. Не кокетничала б с царём, был бы жив твой муж... Отмщённая кокетка! Вертихвостка! Что ж, за то стала салопницей да титулярной советницей свинского Петербурга. Если б я была женой Александра Сергеевича Пушкина, я бы не допустила, чтобы высокородные пасквилянты сочиняли на меня пошлые наветы... – захлёбываясь бормотала Акума, проглатывая нецензурные ругательства, кои слышала от конюха. – Что он в ней нашёл? Гений, парадоксов друг...»

<...>

Романа не бывает без трупа. Так говорят знатоки криминального чтива женского разлива. Рано или поздно он должен где-то обнаружиться. Ищите труп! Подайте труп! Чем раньше, тем лучше. Читатель ждёт интриги. Кстати, пожалуй, не было такого романа, чтобы в нём убивали автора, что-

бы автор оказывался мёртвым до завершения своего романа. Ведь это противоречит науке логики, пусть даже законы логики для романов не писаны.

Благоговейно изучая скромное пушкинское жилище «*en bourgeois*», Акума остановилась у клавира на клавишине в гостиной комнате и ностальгически замурыкала под нос старинный мадригал «*Voi sapete ch'io vi amo*», некогда напетый ей на ушко ранним утром в тёмной убогой коморке счастливым тосканцем Амадео Модильяни.

В этот момент один навязчивый посетитель музея с глазами цветом мутной Невы присоединился к ней и беспардонно пустился в противные для всякого русского уха инсинуации по поводу личности поэта и русской цивилизации.

– Омерзительнейший был тип, хам, трус. Ростовщик. Крепостник. Торговал крепостными крестьянами по 50 рублей за душу. Картёжник. Прощелыга. Шаромыжник. *Grattez le Russe, et vous verrez un Tartare*. Ха-ха! Поскреби Пушкина, найдёшь негра, невольника. Так можно перевести маркиза Астольфа де Кюстина. А еще претендовал на благородное происхождение этот ваш камер-юнкер! Ему место на плантациях в Южной Америке. Бедный негритёночек, проданный пьяным матросом за бутылку рома – вот его вся родословная. Если кто вызывал его за эпиграммы на дуэль, то тотчас бежал на цырлах к царю жаловаться. А пьесы у него, хотя

бы «Борис Годунов» – полная графомания, не чета нашему великому Адаму Мицкевичу. Пушкин всего лишь поэт для двухсот миллионов русскоговорящих, а не для всего человечества, как Мицкевич. И дружков своих декабристов сдал тайной канцелярии за деньги, царь покрыл его картёжные долги из государственной казны. Брюхатил девок крепостных, не вылезал из провинциальных борделей, раб плоти! У него господствовали только две стихии: удовлетворение плотским страстям да худо-бедно поэзия... А ваша кончачковская поэтесса Аннушка Ахматова что? Разве не то? Масло–то кто проливал под трамвай на рельсы? А? Русские, русские... «Ведь немногим больше ста лет тому назад они были настоящими татарами. И под внешним лоском европейской элегантности большинство этих выскочек цивилизаций сохранило медвежью шкуру – они лишь надели ее мехом внутрь. Но достаточно их чуть-чуть поскрести – и вы увидите, как шерсть вылезает наружу и топорщится». Вот что пишет маркиз де Кюстин, я выучил его слова наизусть, как «Отче наш».

– Ах ты, Христова овца из Карловской общины, – прошипела сквозь редкие зубы Акума. – На каждого маркиза, масона и французского пидора найдётся у русских что-нибудь покруче с винтом! *Sacator cave malum!*

Акума пожелтела лицом, как пергамент старого фолианта, и смерила прекрасным презрительным взглядом своего визави. «У него такие узкие запястья, что, пожалуй, не на-

денешь на него наручники», – приценилась Акума и быстро что-то пролепетала невыразимым русским титулом прежде, чем визави разобрал её слова: – Я так глупею, что просто прелесть, но простите, любезный, если оскорблю вас замечанием, что Александр Сергеевич за рукопись стихов с издателя Смирдина брал золотом, а чем же мог взять Адам Мицкевич?

Она улыбнулась, как прелестный ангел, и прицелилась в господина в наковых штанах тем, что было у неё в руках.

– Я по-французски браниться не умею, мил-человек, так что отвечу вам по-русски всем титулом, – кокетничала со злым умыслом Акума.

У неё был более весомый аргумент. Сначала она отвесила чухонцу бляблу по уху, а потом со всего маху ударила по плоской голове, раз-другой, расшитым бисером ридикиюлем с изображением египетского божества Атума. С ним она ходила в джаз-холл, наряжаясь в модную мешковину египетского платья. А в сумочке был в тот злополучный день то ли кирпич с масонским вензелем, коим подкрашивала губы, то ли кость, что таскала с собой для бездомных собак, то ли кусок окаменевшего папоротника триасового периода мезозойской эры.

– Я сделаю из вас свиное отбивное! – зашипела сквозь расшатанные зубы Акума, вздёрнув кончик носа. Крылья носа заколыхались от возбуждения. В просвете окна египетский профиль старухи выглядел как неправильно вырезанный да-

герротип мадам Бовари.

В ярости Акума преобразалась, молодела, хорошела, цвела, как цикламен. Щёки наливалась кровью, вздымалась *чета её грудей* – от них не отвёл бы глаз отрок Владимир Сирин. Эту бесчеловечную сцену избиения из криминального Петербурга зафиксировала камера видеонаблюдения. Разгадывал её известный петербургский пинкертон Путилин в гороховом пальто, носитель либеральной рационалистической идеи, продолжающий верить в силу разума, в этот просвещенческий фетиш кёнигсбергского девственника И. Канта. Так благопристойный роман, как будто потакая паскудным нравам издыхающего постмодернизма, стал местом преступления против человечности, перейдя за жанровую границу бульварных любовно-мистических романов.

– Цалую ручки, – сказала Акума и поклонилась в пояс чухонскому полутрупу. Она вспомнила, что сегодня ещё собиралась на Сенной рынок, чтобы прикупить у китайца в синих шароварах тёпленькой печёнки, пока не распродали. Лучшие куски, небось, уже с утра расхватали хозяйюшки. Засим старушка быстро исчезла. Её и след простыл. А была ли старуха?..

– Ау, Акума! Ау, Акакиевна!

Жизнь двоилась, как в зеркалах на картине Ольги Глебо-

вой-Судейкиной. Акума говорила, что это она заразила нехорошей болезнью какого-то молоденького князя К., и тот застрелился от стыда. Всё время кто-то подглядывал из зеркала. Акума, кто б еще мог строить рожицы!

Был нехороший случай у Кралечкина в студенческом коридоре. Его снедала тогда зависть и поедом ело желание отомстить, как вещего Олега. Как щёлкнул бы по носу, если б ни девушкой была эта одарённая нахалка! Однако ему не хватало смелости умереть за ум, за честь, за совесть Ахматовой. Хоть бы хны! Хоть бы словом заступился за неё! Нет же!

А было вот что. Одна бывшая сокурсница хитрыми способами добилась аудиенции с подпольной старухой на конспиративной квартире на предмет одобрения своих стихов. Стихи не пришлись по вкусу дореволюционной старорежимной старухе – та слушала с окаменевшим лицом, как у сфинкса. Так бы и откусила ей нос! Глаза леденистые. Жидкие. Зелень выцвела. Юное дарование возмутил до кончиков волос её менторский тон, с каким старуха обращалась с ней, влюблённой в её легендарный образ.

«Затопите камин, принесите какао, подайте очки! И так со всеми. Что за манера «принесите да подайте»! Что за повелительный барский тон! Только носом она великолепна, за что можно было бы полюбить, а так напыщенная и перехваленная дура, дура, дура...»

Эти беспардонные реплики уязвляли Кралечкина, как

шлея. Ведь он не знал путей к кумиру, как эта одарённая проныра, да и робел перед собственными мечтами. Что он скажет при встрече со своими нищими правами? Уж лучше буду преданно и скромно любить m-II сердца в своём закутке. И носом он не вышел, блондин с бледными глазами. Старуха предпочитала горбоносых мужчин супротив поэтесс из театрального угла. Что-то сакраментальное в русской литературе связано с этим выдающимся предметом человеческого лица, какой-то литературный фетиш на носы...

Говорят, что дух ААА, некогда ангельский и кроткий, отмеченный православным юродством и смирением, звеня браслетами на запястьях, являлся в затхлый дом литературоведа Кралечкина, «филоложествовавшего» (по его ироничному выражению) на непаханном поприще ахматовской лирики «героически, вопреки идеологической конъюнктуре, рискуя партийной репутацией» (реплика из телеинтервью), рассыпал по полу дешёвые пластмассовые жемчуга царицы Савской. Акуму облаяла за двоих Кралинская собака Эль-да, почуяв что-то неладное, что-то подозрительное. Акума цыкнула на собаку. Та прижала уши, придавила хвост. Хозяину тоже досталось по носу. Щёлк! На него напал чих, чох и пых. Нос чесался. Акума не жалела своих поклонников и поклонниц. В зависимости от степени вины перед ней она озаряла одних ярко-голубым светом глаз, других изумрудным, а третьих серым. Превращалась из жертвы в палача, хлестала их плетью (той, что хлестали некрасовскую Музу), принуждая

к покаянию и раскаянию.

Намедни исследователь жизни и творчества ААА, биограф, давал длинное интервью о любовных связях поэтессы для киевского телеканала, сидя напротив её юного портрета во всю стену. Злобный Дух взбунтовался, наслал грозу и дождь. Град стучал в окно. Навёл такой шорох в городе, что свят-свят-свят, боже упаси! А ведь ревнивая Армида предупредила и умоляла его в письмах из Нью-Йорка, что нельзя, нельзя отдаваться всецело одной ААА, что «она суккуб, опустошит вас Панночка», что возмездие неизбежно, что жар его души прекрасен, но хлад ума ему не повредит в его исследованиях...

Мёртвый труп хозяина вынесли, как старую советскую рухлядь под парадную дверь. Акума, откуда ни возьми, склонилась над Кралечкиным, запричитала горемычно: «Увы, сладчайшее чадо, увы! Како зашёл еси от очею моею? Како в мертвых вменился еси? Авось отогреется и оживёт...»

И тут Кралечкин очнулся, поднял белесые веки, весь без понимания, дитя беспомощное, внезапно встал с носилок, полный какого-то воодушевления и вдохновения, и сверх всякого чаяния обронив тапок, начал изъясняться куртуазным слогом: «Я лежал, бессилен и мертв. Что со мной медицина творила?» Он слал Богу пароль из трёх букв и восклицал: «Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!» Так

куртуазный маньерист Кралечкин, воскресший как бы по наущению философа Н. Фёдорова, познал чистое существование без бытия, без целеполагания. И снова зажил, не взирая ни на что. Плелись и другие версии.

Соседка Таня, дверь в дверь, тоже знатная собачница (от окриков её содрогаются стены в квартире), знает по именам всех литературных собак, может рассказывать о них часами, докладывала участковому лейтенанту, что этот таджикский кагал устроили квартиранты Кралечкина, которым он сдавал свои апартаменты на время отъезда.

«О, бедный крохобор... Да на пенсию разве проживёшь. Легче загнуться», – тотчас жалела его Танечка, зарабатывающая на жизнь продажей породистых щенков.

Не верьте газетам, всё это неправда. Нет дыма без огня. Всякий вымысел не без греха. А грех не без святости. Грешите, грешите, милые читатели! Вы ещё молоды! Ведь вы ещё живы! Ваши грехи потешны! Тешьте, создателя! Ему наплевать на вас! Ему скучно в вашем цирке Чинизелли...

«Ну-тка, дайте мне Кралечкина сюда! – говорил скучающим ангелам бог. – Покажите мне его, разве он богохульствовал? Нет, я сам грешен. Каюсь. Сам на себя напраслину нёс, яко пёс бездомный, поганый мой рот! Вот тебе, вот! (Хлопает себя по губам.) Ну, так простим его, сирого советского филолога, целую его в темечко, лысает оно...» – бубнил Бог без лица, без губ, без носа, как у табуретки...

...В углу комнаты Кралечкина с видом на Уолл-стрит, на паркетном полу продолжала сидеть, покачивая головой, полногрудая старуха, которая бесстыдно задирала то одну, то другую креповую юбку, обнажая голые толстые ноги в сползающих чулках. Меж ног ползала черепашка. «Скучно, скучно, как в Париже», – жаловалась она.

«Акумушка, Акумушка, закуси лучком водочку, али селедочкой. Вот хвостик, на-ка!» – уговаривала её многолетняя товарка и штатная сексотка, вечная девственница Мелхола Давидовна Острожская – ласкала свои шершавые ноги в балетных тапочках и мысленно сочиняла докладную записку «куда следует», зная, что эти документы войдут в анналы советской литературы, когда откроются спецхраны, жила бы страна большая...

При этом она не упускала возможности поупражняться в художественном стиле своего доноса, который по её умыслу должен был стать в благословенные времена художественным фактом советской литературы, новым жанром. Она готовилась написать роман в жанре доноса.

Тщеславие!

Вот и советская литература упокоилась... Царство ей небесное!

Акума сыскоса поглядывала зелёными глазами, как у кры-

жовника, на хозяина квартиры, губы её прошамкали:

«Чего же ты хочешь, горюшко моё? Чай или кофе? Собаку или кошку? Пастернака или Мандельштама?» Акума потчевала загадками, как японский монах потчует послушников-недоумков коанами-парадоксами. Взгляд лукавый и умильный. «Белится и румянится и губы чем-то мажет, брови сурьмит», – подозрительно заметил Кралечкин.

Старуха была похожа на скомканный тюфяк войлока, и во рту у неё тоже был клубок войлока.

«Ну вот, мой маленький герой, мой рыцарь на час, мой друг, мой собрат, мой любовник, я здесь! Впускай! Я пришла в твой дом чудес, как ты хотел, чтобы быть твоей пожизненной госпожой, чтобы повелевать тобой по смерти. А хочешь, оборочку от платья подарю», – говорила ласково войлочная inferнальная баба. Она наклонилась и оторвала с треском оборку от подола.

Кралечкин онемел от счастья, от неслыханной щедрости. Другой кто на его месте просто бы офигел, а Кралечкин взял подарочек, зажал в кулак тряпочку и замолчал.

«Что ты ищешь?» – настойчиво спрашивала старуха, мистифицированная умопомрачительным видением Кралечкина.

«Что Бог спрятал, ищу, что Бог спрятал, ищу, старушка», – бубнил Кралечкин сам себе на уме, взрыхляя пыль забвения.

«Всё, что мог дать тебе Бог, это душа. Коль дал тебе ду-

шу маленькую, душу крохотную, как зёрнышко, то не жлобствуй, милоч, не проси у него больше, а сам возвращай оную, как устрица...»

«Всю призрачность твоих лохмотий, всю наготу нежнейшей плоти...» – пропел воздушный дух, летящий чёрным вороном.

Акума перешла на французский: «...*Ta forme immortelle velle près de lui quandil dort...*»

И добавила:

«Не теряйте отчаяния! Передаю приказ номер 135».

Миша Кралечкин искал то, что делало его причастным к чужому гению. Так верующий прикладывается к святым мощам. Он искал в архивах «Жёлтый дневник» Людвига Витгенштейна, полагая, что засунул его тетрадь в Книгу Жалоб или в пухлый анамнез болезней (грипп, одышка, колики, запоры, амнезия, простатит, цистит, анемия и ещё какая-то болезнь «Зина, Алёнушка, Петя, Ольга...»), собранных за полвека его никчемной жизни литературного изыскателя любовных драм и эротических тайн Акумы.

«Как говорится, жизнь прожита понапрасну, хотя не зря, не зря. – Старуха захихикала: – Ах, упекут тебя, Кралечкин, точно упекут, тебя, Кралечкин, попомни моё слово, в жёлтую тетрадь, как миленького упекут! Засохнешь там между страниц, как пражская козявка у Франца Кафки».

Она прижимала к своей груди то руки, то ноги, и умильно улыбалась. А по губам её можно было читать Фёдора Михайловича Достоевского: «Между ними была какая-то нежная утончённая связь...»

Из-под кровати выскользнула школьная тетрадка. Вслед за ней вывалилась целая сюита, лунная серенада, симфония переснятых царственно-буржуазных и аскетически-советских мутных фотографий Акумы. Они выпали из чёрной японской шкатулки с изображением знаменитой гейши Садоякко в кимоно. «Ваши маленькие ножки трепетали на паркете, и жуками золотыми нам сияло ваше имя». Выпал пыльный веер с красным драконом. Фотография грузинского генералиссимуса возглавляла галерею выцветших портретов, будто присыпанных отравленным мартовским снегом... Здесь были лица возлюбленных – живых и мёртвых...

«А вот и дневник Кати Соколовой», – тихо молвил Краlechкин. – Не искал, а нашёлся, сам в руки пришёл, как маленький. Славная была женщина, печальная, вручила мне свой блокадный дневник на одном моём выступлении в библиотеке в Рыбацком. Помню, в 83 году я делал доклад о том, как ААА пережила первый месяц блокады в сентябре 41 года. Вот если б так нашлась моя душа, моя страждущая душенька».

Акума хихикнула: «А ты поищи её в пятках». Старуха молча доставала свою мясистую грудь и ткнула в лицо Кра-

лечкина: «Ну-тка, бери, горюшко моё! Соси!» Кралечкин запел нудно, чуть не хныча: «Пусть твои помяты груди, нам всё равно, что скажут люди!» Кто-то хихикнул в темноте. Небось, Мелхола Давидовна. «Дались они тебе, эти никчемные тетради, где-нибудь в шуфлядке прячутся. Лучше скажи, где ночуют вороны?» Будто из подвала, будто из щели в земле, потусторонне прозвучал её голос. Тотчас на голове у неё угнездилась ворона. Чёрный Ангел, зыркнул тутовыми бусинками глаз по сторонам, проурчал гортанно: «Речь скрывает мысли».

Они умастились друг против друга, сдвинув колени, стали рассматривать старые фотографии, на которых проявлялась в ленинградском сумраке Акума в разных эротических позах ожидания будущего королевича. На стене блуждали тени их возлюбленных рук. Ещё долго-долго он не желал бы помирить реальность с деменцией особого порядка...

Кралечкин подошел к стене, оторвал край обои с рисунком цветущего мышиного горошка, клееной собственноручно мамой, что-то стал писать карандашом, какой-то комментарий к стихотворению. Закончив писать, он закрыл надпись отклеившимися обоями. Потом повернулся к Акуме и сказал тожественно: «Прости меня, Анна Андреевна, но я покину свой пост у ваших ног, мне нужно отойти, меня на службу муза призвала». Ушёл в тень вместе с птичьим хохлатым профилем, похожим на попугая Флобера из песенки Вертинского. Над головой его, отражаясь на голой стене в электри-

ческом закате, заклубились пылинки, словно меховая опушка.

Агонь, агонь, агонь...

«Не верьте старику! – лукаво молвила Акума. – У него микромаразм, перерастающий, в обши-и-и-рный обширный крипто-роман». Она обращалась к тени голого тополя на стене, где висел постер с видом на ночной Нью-Йорк.

Представлялось, что это жестикулируют в чьих-то руках иероглифические фигуры китайского театра живых теней. Тени двигались на стене, жестикулировали знаками незримым зрителям и заманивали в пятый угол комнаты. Они принуждали слепо повиноваться какой-то тайне, которая, бог видит, и нелепа, и безлика, как бесполезная жалкая подробность в биографических раскопках гения советской эпохи, на которую он положил свои детство, отрочество, юность, зрелость и старость. И вошёл в бессмертие. «О литературное блядство!» Он брал в руки залежавшиеся книги, прислонённые стопочкой к плинтусу, и черкал карандашом свои убийственные ремарки: «Автор дурак, автор дурак, автор дурак...»

Сон длился, как трамвайные рельсы на проспекте Просвещения на рисунке мальчика с халдейской гривой; по рельсам ползли телеги; люди выходили из метро порциями, табор с индейцами в цветных перьях, под стать попугаям, концерти-

ровал с амазонскими напевами. И не было в нём ни одной нелепости, о которой можно было сказать, что это неправда. Когда смотришь правде в глаза, то думаешь: «Какая же ты нелепая, правда!» И так легко вляпаться в правду, от которой несёт такой нелепостью!

– Двойник и оборотень моей души! Акудник! Акума! Аку-мушка!

Ты завела меня в амбары моей памяти, заставила перелистывать мои дневники, что скрупулёзно, усердно, как бухгалтер, я вёл с отроческих годов, ты превратили меня в древесный мох на омертвелых книжных корешках. Ты растоптала меня, ты переехала меня танком, как танк переползла эпоху, я умер в твоей тени... Я был рыцарем твой тени, преданно отслужил тебе четверть века, твой дар слова обжигает мне руки, перенесёшь ли ты со мной разлуку?

С поры пугливой юности, когда я был насквозь пронзён слабыми рифмами, как насекомое иглой в зоологическом музее, я не обрёл ни крупинки тайны в твоей элементарной словесной алхимии. Эта страсть сделала меня заложником и банкротом той тайны, к которой стремятся созерцательные не от мира сего умы, жаждущие эфемерного Абсолюта, каким стал для меня кристалл твоей поэзии. Твоим словом можно было резать сердца людей, как алмазным резцом.

Я, ничтоже подписавшийся, Мафусаил Кралечкин, как продрогший иероглиф «#» на бельевой верёвке, прозябающий мелким шрифтом в литературных комментариях, крохоборствующий в унылых буднях чужой биографии на задворках собрания советского классика, говорю во весь го-

лос Urbi et orbi: пусть я, столь поносимый, пусть я, столь хулимый, что хватит и на десятерых, и такой безвинный, не способный убить мухи, уже ступил на край двойного бытия, я свидетельствую в преддверии блаженного сна на родине предвечных роз, нищих роз: всё выдумки, бя, всё враки, бя, всё вымысел, бя, нет реализма во вселенной!

Читатели, дайте мне уснуть в сумрачном Муринском овраге, укройте меня древесным мхом, примите из рук моих эстафету безнадежности, дайте мне таблетку от смерти! О, вороны, скажите «amen»! О, вороны, скажите «ave»! Да летите вы, чёрные, в рай ко всем херувимам!

– Эх, севрюжинки бы с хреном, да водочки к обеду, было бы отлично!

Он протянул руку к воде: струилась стылая жёлтая илистая взвесь. И сплюнул смачно, от души. И плевков унесло – ада-ли упавшую зелёную звезду – к уснувшим в тумане замшелым стенам Инженерного замка. Там бродят уныло брошенные в забвенье пропахшие сыростью тени розенкрейцеров, словно стражи мёртвых. Эти тени, как янычары, как звери, застывали в аллегорических позах, составляя на стенах зловещего дворца картины убийства тирана. Кралечкин должен был угадать их, иначе беда, иначе ему не выбраться на волю из посмертного заточения... Страшно!

О, милые мертвые, где вы, милые мёртвые?

Кралечкин увидел, как из воды глядит на него холодное

отражение: юное, красивое, мужественное лицо с пробивающимися волосками на верхней припухлой губе с выразительным желобком – лицо Жени Шлеина, одноклассника из исакогорской школы, затерянной где-то в архангельской тайге. Живы ли ещё те беленые известью школьные стены? На тёмные глаза его упал длинный чуб, похожий на оселедец, на нежных губах плавала ухмылка презрения раненого киборга.

Миша Кралечкин склонился над водой, прикоснулся к его мутному отражению сухими губами, прошептал: «Там, у устья Леты – Невы...»

Вот оно счастье!

Он прикоснулся губами к источнику небытия. В лодку, причаленную у льва с головою Сфинкса, набилось много людей. Кто-то произнёс: «А помните, как хоронили статуи в Летнем саду? Век, на этот раз, начался вовремя, 11-го числа, а мы избежали его, к счастью... Главное вовремя умереть, ну а как же умереть, если уже привык жить? Если привык жить, то живи да поживай. Страшно быть мёртвым заживо. Страшно, ох, как страшно расставаться со старческой привычкой жить, ковыряться в тайнописи чужого бытия, сличать показания лжесвидетелей с литературными сплетниками...»

Впервые стало не одиноко среди чухонцев и жмуди Михаилу Кралечкину. Хотелось горько плакать. Было такое чувство, что на всех сразу навалилась одна Божья тоска, одна Божья благодать. В реке проплывали кеды с двумя красными мячами, чьи-то думы о ветре, чьи-то думы о водорослях.

Пошел лёгкий снег. Воздух сухо шуршал. Казалось, что город поднялся на белых парусах и поплыл вверх. Летящий над городом Ангел ронял перья. «Ангелы в страхе изумляются, архангелы крылами закрываются», – сладенько шептал Кралечкин, боясь собственного голоса.

Заалели небеса, забелели паруса. Будущее настало, растаявшая из бездны, скрещенными лучами прожекторов. Зазвучала симфония Шестаковича, соль минор, Дворцовая площадь... Тревога, как протяжный звук воздуха в верховьях деревьев, не покидала Михаила Кралечкина, вошла в дрожь его пальцев, схватила спазмом за горло, словно безвольного трусливого и наивного кролика.

Снилось, что его ведёт на казнь юный палач, в которого был влюблён до смерти, до дрожи в коленках. Вот за то, что он был в него влюблён до смерти, поэтому ему предназначалась казнь. Женя Шлеин, школьный товарищ, ведёт его на плаху, на позор, на погибель. Пенилась голубая Нева, задыхалось время, как вымотавшаяся бездомная собака, подавившаяся брошенной костью. Усталые от бега спотыкались о вековой гранит невские волны, поднятые проходящим речным трамваем. Река нагоняла в безлюдный город плесневелый воздух. Хоть бы щепоткой алхимической соли его уластили!

В конце Литейного, когда бы ни взглянул, в любое время года, всегда лежало свалывшееся облако, как бездомная

скачущая собака с просящим молитвенным взором. А сейчас это облако преобразилось в стожок сиреневого войлока, упавшего на прогнутые трамвайные пути, по которым скользил ущербный влажный луч солнца. Богомольная старуха в сношенном ватнике перекрестилась на бесшумный солнечный плеск, нервно, неприкаянно пульсирующий на трамвайных путях. Помахала рукой трамваю, сказала: «Ну, ехай! Лишь бы не пёхом по Невскому. Ну, с Богом! Катерине Соколовой привет, привет, горе— то какое, ах, Рудик, Рудик! Земля вам пухом...»

Трамвай на повороте оглянулся на старуху и тихо тьякнул ей на прощание, словно щенок. Старуха шла, шамкая губами трамвайные рифмы, пока не превратилась в куст сирени на углу сквера на Литейном. «Акумушка, Акумушка»,— шуршал словами весенний воздух, вспоминая прошлогоднюю листву раки. Следом за трамваем летел ворон, князь воздуха, заглядывая в окна. Мальчик у окна показывал этому ворону сине-зелёный язык, измазанный химическим карандашом. На стекле он оставил след от чернильного языка. Он рисовал на коленях в своем альбоме то, что видел за окном в своём воображении. Что-то сердитое было в обмякшем женоподобном облике того простоволосого облака— будто оно было спросонья, злое, в смятом лиловом халате, с большим животом, грудастое, без лифчика. Имя этому сумрачному облаку было зловещее – Акума. «Не человек я – дух! Всё вижу, всё слышу, всем владею, смерть одолею...» Подъехал ни

шатко, ни валко следующий трамвай, похожий на старинный особняк, весь из яркого красного кирпича с белыми прожилками, с надписью на забрале: ##.

Тронулся трамвай и поехал медленно, со скоростью пять километров в час по рельсам – красный кирпичный особняк-трамвай, страдающий старческой одышкой: он будто взбирался на седьмой этаж, осторожно ступая на каждую ступеньку. Угрюмые грузчики в синих спецовках едва успели вынести из него чёрный франтоватый рояль с неумолкающей механической музыкой «La Rappel des Oiseaux». Музыка смешивалась с удушливым запахом одеколона «Махровая сирень», будто в её влажных недрах радостно щебетали воробьи апрельские тезисы, предвещавшие лингвистический сдвиг исторических парадигм русского религиозного разлома. Трамвай скрежетал. Нежные перезвоны врезались внутрь всего существа, где рыл нору смертный страх, будто крот.

Кто-то из пассажиров, нависший над головой Мелхолы Давидовны Острожской, объявил диагноз: «У него вырождение сердечного клапана». На мгновение она забыла, с какой целью её странствие, забыла о своем целеполагании.

«Где стол был яств, там гроб стоит», – перешептывались слова в её голове.

Словно в поисках утраченного целеполагания, Мелхола Давидовна открыла издавший виды, помнящий тайны эпохи саквояж, где лежали запретные, контрабандные книги анти-

советского зарубежья под ворохом чёрных блестящих шелкопрядов. Они делали свое дело: несуетно ткали время вечности, ткали высокохудожественные доносы в Дом Чудес. Старческие руки её ощущали, как копошились в коконах шелковичные черви, вскормленные маткой. Вдруг потемнело, ни единого лучика света не проникало в город. Небеса нахмурились. Облака насупились. Солнце зажмурилось.

И сердце у старой женщины затомилось. Затомилось, как у молодой m-II, которая поняла, что не встретится больше с любимым. Облако нависало тенью над трамваем на всём его неуклонном пути. Трамвай бежал *presto presto e delicatamente*. За ним бежала мокрая собака, похожая на Александра Сергеевича Пушкина, выкарабкавшаяся из Мойки. Кто-то сказал: «Граждане, трамвай идёт в свой последний путь, идёт в Тайцы».

Двери затворились.

«Что ж и нам в последний путь! Прощайте, граждане ленинградцы! Отныне мы не граждане, а население, отныне мы китайцы-тайцы-тайцы...» Плыл колокольный стон.

Он задевал кончики листьев цветущих каштанов. Листья отяжелели набухающей росой.

Росы напитались пылью, пыльцой, ознобом, свинцовой синевою неба...

12

Фронтон Московского вокзала немо ответствовал проезжающему трамваю-особняку: «Миру – слава!» Вагоновожатой трамвая была Акума. Лозунг на его краснокирпичном борту возвещал: «Миру – мир!» Из уличного репродуктора, сотрясая хмурый воздух над площадью Восстания, неслась оратория: «Восходит заря коммунизма. Правда знаний и счастья у нас, если б нашу святую отчизну...»

...Евгенислав Цветиков, в нахлобученной кепочке (никогда не носил), с заломленной папироской в зубах (никогда не курил), небритый (всегда выбритый), с меланхолическим влажным взором брошенной собаки (терпеть не мог бродячих псов), направлялся без особой надобности в гости к Михаилу Кралечкину. Поводом для этой поездки стало желание посмотреть библиотеку знаменитого филолога, быть может, на предмет оценки и покупки скопом. Обычно по жизни он полагался на интуицию, разум, волю, инстинкты и никогда на расчёт, поэтому не нажил капитала эпохи первоначального накопления. Побеждало всегда безрассудство. Это качество охраняло его от катастроф при всех его сексуально-финансовых банкротствах. Кривая, как говорится, выводила его к неожиданным поворотам его судьбы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.